

ВАЛТЕР СКОТ

ПЪРКАНЕ

ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ



Вальтер Скотт

Легенда о Монтрозе

## ВВЕДЕНИЕ

Когда сержант Мор Мак-Элпип жил среди нас, он был самым уважаемым из обитателей Гэндерклю. Субботним вечером в общем зале гостиницы «Уоллес» никто не вздумал бы оспаривать его право на самый уютный уголок у камелька. Да и наш пономарь Джон Дайруорд никогда бы не допустил, чтобы кого-либо занял место на первой скамье, слева от кафедры, где сержант имел обыкновение сидеть во время воскресной службы. В церковь Мак-Элпин неизменно являлся в тщательно вычищенном синем военном мундире. Две медали на груди, а также пустой правый рукав свидетельствовали о бранных подвигах старого воина. Его обветренное лицо, седые волосы, заплетенные в жидкую косичку, как в старину носили военные, и несколько наклоненная к левому плечу голова — дабы лучше слышать слова проповеди — выдавали и ремесло и немощи ветерана. Рядом с ним сидела его сестра Дженет, маленькая опрятная старушка в чепце и клетчатом пледе, какие носят шотландские горцы, и не спускала глаз со своего брата, которого почитала величайшим человеком на земле; во время проповеди она проворно находила в его библии с серебряными застежками те места, которые читал или разъяснял священник.

Должно быть, именно то обстоятельство, что достойный сержант был окружен в Гэндерклю почетом и уважением людей всех сословий, и побудило его избрать нашу деревню местом своего постоянного пребывания, ибо это отнюдь не входило в его первоначальные намерения.

Ревностной службой в разных странах мира он добился звания артиллерийского сержанта и считался одним из самых испытанных и надежных солдат в шотландском ополчении. Пуля, раздробившая ему руку во время похода в Испанию, положила конец его военному поприщу, и он вышел в отставку, получив пенсию инвалида и приличное вознаграждение из общественных фондов. Вдобавок сержант Мор Мак-Элпин был человеком не только храбрым, но и предусмотрительным; из своих сбережений и денежных наград он составил небольшой капиталец, который и поместил в трехпроцентные консоли.

Он вышел в отставку, намереваясь насладиться своими скромными доходами в горной долине на диком севере Шотландии; там он некогда пас стада овец и коз, пока не услышал бой барабана и не последовал за ним, сдвинув набекрень свой берет горца, с тем чтобы уже не отставать от него в течение почти сорока лет.» В памяти сержанта эта глухая долина осталась прекраснейшим уголком земли: красоту ее не могли затмить никакие картины природы, виденные им в его странствиях. Даже Счастливая долина принца Расселаса — и та показалась бы ему жалкой по сравнению с ней. И вот он приехал в родные места и нашел только бесплодное ущелье, окруженное голыми утесами, по которому стремительно неслась горная речка. Но не это было самое печальное: огни тридцати очагов погасли, от его отчего дома осталось только несколько замшелых камней, родная речь почти забылась, древний род, принадлежностью к которому он так гордился, нашел убежище за океаном. Один арендатор с южного предгорья, три пастуха в серых пледах и шесть овчарок населяли теперь эту долину, где в пору его детства, хорошо ли, плохо ли, но жило свыше двухсот человек.

Однако в доме нового арендатора сержанта Мак-Элпина ожидала радостная встреча, согревшая его сердце. По счастью, его сестра Дженет питала столь глубокую уверенность, что брат ее когда-нибудь возвратится домой, что отказалась покинуть родину вместе со своей семьей. Мало того, — она даже согласилась — правда, не без чувства уязвленной гордости — поступить в услужение к незваному пришельцу с предгорья; впрочем, по словам Дженет, ее хозяин, даром, что сакс, обращался с ней хорошо. Это неожиданное свидание с сестрой почти примирило сержанта Мак-Элпина со всеми разочарованиями, выпавшими на его долю, хотя он едва удерживался от слез, слушая, как Дженет с красноречием, присущим лишь женщинам северных гор, рассказывала горестную повесть об изгнании их семьи.

Она долго и обстоятельно описывала, как тщетно пытались они продлить срок аренды, просили принять арендную плату вперед, хотя это и привело бы их на грань нищеты, — лишь бы им разрешили прожить свой век и умереть на родной земле. Не преминула она сообщить брату о тех знаменьях, которые предвещали изгнание кельтского племени и приход чужестранцев. Еще за два года до отъезда семьи в завываниях ночного ветра в ущелье Балахра явственно слышалась песня «Нам нет возврата», которую, по обычаю, поют переселенцы, прощаясь с родными берегами. Зловещие крики пастухов с предгорья и лай их овчарок часто раздавались в окутанных туманом горах задолго до появления пришельцев. Старый бард, последний из кельтских бардов, сложил песню об изгнании коренных обитателей ущелья, от которой слезы навернулись на глаза закаленного воина; первая строфа этой песни звучала приблизительно так:

Зачем, зачем, о сын предгорья,

Зачем ты покинул свой край родной?

Зачем принес ты горцам горе

В долины, где раньше царил покой?

Горе бедного сержанта усугублялось еще тем, что виновником этих печальных событий было то самое лицо, которое, по преданию и по общему мнению, почиталось преемником древних предводителей клана; прежде сержант Мор с гордостью доказывал при помощи генеалогических вычислений, в каком родстве он состоит с этим лицом. Теперь в его чувствах произошла прискорбная перемена.

Когда Дженет кончила свой рассказ, он встал и зашагал по комнате — Я не могу и не хочу проклинать его, — сказал сержант Мак-Элпин. — Он потомок и наследник моих прадедов. Но отныне никто из смертных не услышит его имя из моих уст.

И он сдержал слово: до его последнего часа никто не слышал, чтобы он помянул своего корыстного и безжалостного повелителя.

После того как сержант провел день в печальных воспоминаниях, бодрость духа, которая помогла ему преодолеть столько опасностей, и теперь взяла верх над жестоким разочарованием.

— Мы поедем, — объявил он, — за океан, туда, где наши родные называли канадскую долину именем ущелья наших предков. Дженет, — добавил он, — подшей свои платья, как это делают женщины, отправляясь с войском в поход. И не говори, что это далеко. Черт возьми! Не такие путешествия и походы я проделывал даже тогда, когда в этом было меньше надобности, чем сейчас.

С этим намерением он покинул родные горы и вместе с сестрой добрался до Гэндерклю, лежащего на пути в Глазго, откуда он думал отплыть в Канаду. Но тем временем наступила зима, и сержант рассудил, что лучше дожидаться весны, когда откроется навигация по заливу св. Лаврентия, и решил провести у нас последние месяцы своего пребывания в Англии. Как мы уже сказали, почтенный ветеран был принят с должным уважением всеми слоями общества; и когда наступила весна, старик уже так обжился в нашей деревне, что и не возвращался к мысли о Канаде. К тому же Дженет боялась пускаться в море, а сам он все сильнее чувствовал приближение старости, да и долгая ратная служба давала себя знать. Поэтому Мак-Элпин пришел к выводу, как он признался нашему священнику и моему достойному патрону, мистеру Клейшботэму, что «лучше остаться с добрыми друзьями, чем уехать туда, где, возможно, будет хуже».

Таким образом, он поселился в Гэндерклю, к величайшей радости, как мы уже говорили, всех его обитателей, для которых он стал незаменимым толкователем газет, правительственных извещений и бюллетеней, сущим оракулом, искусно раскрывающим смысл всех военных событий, прошлых, настоящих и даже будущих.

Правда, не всегда рассуждения сержанта Мак-Элпина отличались строгой последовательностью. Так, например, он был убежденным якобитом, по той причине, что его отец и четверо родичей воевали на стороне короля в сорок пятом году; но он был не менее убежденным приверженцем короля Георга, потому что на службе у этого монарха он сам приобрел свое маленькое состояние, а его три брата сложили головы; так что вам грозила опасность навлечь на себя гнев старика и в том случае, если бы вы назвали принца Карла претендентом и если бы вы неуважительно отозвались о короле Георге. Не станем отрицать также и того обстоятельства, что в те дни, когда сержант получал проценты со своего капитала, ему случалось засиживаться в гостинице «Уоллес» дольше, чем это было совместимо с строгой умеренностью и его личной выгодой; ибо в такие вечера посетители столь усердно угождали ему, распевая якобитские песни, проклиная Бонапарта и осушая стаканы в честь герцога Веллингтона, что сержант не только расплачивался за всю выпивку, но даже зачастую одалживал небольшие суммы своим коварным собутыльникам. После таких возлияний, как он сам выражался, когда мысли его снова обретали ясность, он неизменно возносил хвалу богу и герцогу йоркскому, благодаря которым ныне старому служаке несравненно труднее разориться от излишеств, нежели это было в дни его молодости.

Должен сказать, что не в гостинице «Уоллес» искал я общества сержанта Мак-Элпина. Но иногда на досуге я сопровождал старика в его утренней или вечерней прогулке, которую он называл смотром и на которую, если только позволяла погода, являлся с неизменной точностью, как будто только что пробили зорю. Утром он всегда прогуливался на кладбище под вязами, «ибо, — как он говорил, — я столько лет прожил бок о бок со смертью, что не вижу причин раззнакомиться с ней». Под вечер его можно было увидеть на берегу реки, недалеко от лужайки, где белили холсты; окруженный деревенскими политиками, старый ветеран, вооружившись очками, читал газету, растолковывал своим слушателям военные выражения, для вящей наглядности чертя тростью по земле. Иногда его обступала ватага школьников, которых он либо обучал артикулам, либо, к некоторому неудовольствию родителей, посвящал в тайны пиротехники (как это именуется в энциклопедии); в этом деле он был большой знаток, и во всех торжественных случаях деревня поручала ему устройство фейерверка.

Чаще всего я встречался со стариком во время его утренней прогулки. И когда я смотрю на дорожку, окаймленную высокими тенистыми вязами, мне так и мерещится, что он с тростью в руке идет навстречу размеренным шагом, расправив плечи, готовый отдать мне честь.. Но его уже нет в живых, и он покоится рядом со своей верной Дженет под третьим вязом, если считать от западного угла кладбищенской ограды.

Беседы с сержантом Мак-Элпином имели для меня большую прелесть не только потому, что он рассказывал мне о своей богатой приключениями кочевой жизни; от него узнал я множество преданий северных горцев, которые он в детстве запоминал со слов своих родителей и усомниться в истинности которых он и сейчас, на склоне лет, почел бы ересью. Немало этих преданий относилось к походам Монтроза, под чьим знаменем, по-видимому, отличились и некоторые предки сержанта. Как ни странно, но, несмотря на то, что именно в междоусобицах того времени горцы стяжали себе наибольшую военную славу, впервые показав свое превосходство над южными шотландцами, о войнах Монтроза было создано гораздо меньше легенд, чем о других, нередко менее значительных событиях. Вот почему я с великой радостью слушал рассказы моего друга о любопытных чертах той эпохи; в них сказалась тяга к фантастическому и сверхъестественному, присущая и моему собеседнику и тем далеким временам; я предоставляю читателю полную свободу выбора — чему верить и чему не верить, однако с условием, чтобы он не подвергал сомнению исторические события моего повествования, ибо эти события, как и все те, которые я уже ранее имел честь предложить его вниманию, соответствуют истине.

## Глава 1

Здесь каждый веровать привык

В священный текст мечей и пик.

А спор решать — прием любимый

Здесь пушек гром непогрешимый,

И догмы в ум вбивать крепки

Апостольские кулаки. Батлер

Начало нашего повествования относится ко временам великой и кровавой гражданской войны, потрясавшей Англию в XVII веке.

Междоусобные распри еще не коснулись Шотландии, хотя политические разногласия уже делили ее обитателей на два лагеря: многие шотландцы, недовольные своим правительством, осуждали принятое им решение — послать в Англию многочисленные войска на поддержку английского парламента; они намеревались при первом удобном случае объявить себя приверженцами короля и, если бы им не удалось привлечь на свою сторону большую часть населения Шотландии, добиться хотя бы возвращения армии генерала Лесли из Англии. К этому стремилось главным образом северное дворянство, оказавшее упорное сопротивление принятию Торжественной лиги и ковенанта, а также большинство предводителей горных кланов, которые понимали, что их собственная власть зависит от прочности королевского престола, и к тому же питали глубокую неприязнь к пресвитерианскому вероучению; кроме того, эти горные кланы находились на той низкой ступени общественного развития, когда, любая война кажется более желательной, нежели мир.

Такое состояние умов предвещало бурные события, и обычные набеги северных горцев, опустошавших юго-восточное предгорье, постепенно принимали характер открытых военных действий, составлявших как бы часть общего стратегического плана войны.

Люди, которые стояли у власти, знали о надвигающейся опасности и тщательно готовились к тому, чтобы во всеоружии встретить и отразить ее. Впрочем, они не без удовлетворения отмечали то обстоятельство, что среди роялистов до сих пор не появилось ни одного достаточно популярного вождя, который мог бы сплотить вокруг себя армию или хотя бы объединить под своей властью те разрозненные отряды, которые страсть к грабежу побуждала к враждебным действиям, пожалуй, не меньше, чем политические убеждения. Правительство надеялось, что размещение достаточного количества войск в предгорье, примыкающем к границам Верхней Шотландии, сдержит воинственный пыл главарей горных кланов; и что северные бароны, поддерживающие парламент, — как, например, граф Маршал, старинный род Форбсов, Лесли, Ирвины, Гряты и другие пресвитерианские кланы, — не только сумеют одолеть клан Огилви и прочих роялистов из Ангюса и Кинкэрдина, но даже и обуздать могущественный род Гордонов, власть которых была так же безгранична, как их ненависть к пресвитерианству.

У правительства было немало врагов в горах Западной Шотландии, но, по общему мнению, мощь этих враждебно настроенных кланов была сломлена и воинственный дух их вождей усмирен благодаря огромному влиянию маркиза Аргайла, который пользовался полным доверием шотландского парламента; могущество маркиза в горных районах, уже и ранее почти безграничное, еще более укрепилось благодаря уступкам, которые ему удалось вырвать у короля во время последних мирных переговоров. Всем было известно, что маркиз Аргайл — скорее искусный политик, нежели отважный воин, и более способен плести тонкие политические интриги, нежели усмирять крамольных горцев, однако численность подвластного ему клана и отвага верных ему предводителей могли с лихвой возместить недостаток доблести у вождя; Кэмбелы уже не раз одерживали победу над соседними кланами, и можно было думать, что побежденные не скоро решатся снова помериться силами со столь могущественным противником.

Итак, удерживая в своих руках самую богатую часть королевства — весь юг и запад Шотландии, а также графство Файф с плодородными землями, и насчитывая многочисленных и могущественных сторонников даже в областях, расположенных севернее залива Форт и реки Тэй, шотландский парламент полагал, что опасность не столь уж велика, и не видел необходимости менять свою политику; менее всего он был склонен отозвать из Англии двадцатитысячную армию, посланную на подмогу братскому английскому парламенту, помощь которой оказалась столь существенной, что роялисты вынуждены были перейти к обороне в пору своего наибольшего торжества и успеха.

Причины, побудившие в то время шотландский парламент принять столь непосредственное и деятельное участие в английской междоусобной войне, подробно изложены нашими историками, но, может быть, стоит здесь вкратце напомнить о них. Со стороны короля не было никаких новых обид или поползновений на права шотландцев, и мир, заключенный Карлом Первым со своими шотландскими подданными, ничем не был нарушен; но правители Шотландии прекрасно понимали, что король принял мирные условия только под давлением английского парламента и под угрозой их собственных вооруженных сил. Правда, после заключения мира король Карл посетил столицу своего древнего королевства, признал новое устройство церкви и удостоил почестей и наград многих предводителей враждебной ему партии, особенно ожесточенно боровшихся против него. Однако шотландцы опасались, что милости, столь неохотно расточаемые, будут вновь отобраны при первом же удобном случае. Неудачи английского парламента вызывали тревогу в Шотландии: здесь отлично понимали, что если бы Карлу удалось с помощью военной силы усмирить своих английских подданных, он не замедлил бы отомстить шотландцам за то, что они подали пример неповиновения, первыми подняв оружие против короля.

Таковы были политические соображения, побудившие шотландцев отправить войско в Англию; цель похода была открыто провозглашена в манифесте шотландского правительства, в котором излагались причины, заставившие его оказать столь

своевременную и существенную помощь английскому парламенту. Английский парламент, говорилось в манифесте, уже выказал Шотландии свою дружбу и будет ее выказывать и впредь; король, правда, дал шотландцам ту религию, которую они пожелали, но нет никаких оснований полностью доверять королевским обещаниям, ибо слова короля не всегда соответствуют его действиям. «Наша совесть, — говорилось в заключение, — и бог, который выше нашей совести, да будут нам свидетели, что мы желаем только мира для обоих народов во славу божию и к чести короля, когда, соблюдая закон, усмиряем и караем тех, кто являются зачинщиками смут в Израиле, дьявольскими подстрекателями, — Кор, Валаамов, Доиков, Рабсаков, Аманов, Товиев и Санаваллатов нашего времени, и, совершив сие, мы не пойдем далее. И мы, во исполнение сих благочестивых намерений, не прибегали к посылке войска в Англию, покуда все другие средства, кои мы могли измыслить, не потерпели неудачи, и нам осталось лишь это последнее и единственное средство».

Предоставив казуистам решать вопрос, имеет ли право одна из сторон нарушать торжественный договор только на том основании, что она подозревает возможность такого нарушения другой стороной, мы перейдем к двум другим обстоятельствам, оказавшим на шотландский народ и его правителей не менее сильное влияние, чем сомнения в искренности добрых намерений короля.

Прежде всего — состав и характер шотландского войска, возглавляемого обедневшим и недовольным дворянством. Большинство офицеров этой армии выучилось своему ремеслу на материке, во время германских войн. Мало-помалу они почти утратили не только представление о различии политических убеждений, но и понятие о различии между странами, и, движимые одной только корыстью, чистосердечно полагали, что первейший долг солдата — верность государству или монарху, которые ему платят, независимо от того, за правое или не правое дело они сражаются и каково их личное отношение к той или другой из враждующих сторон. Вот какую суровую оценку дает Гроций подобным людям: «Nullum vitae genus est improbius, quam eorum, qui sine causae respectu mercede conducti, militant».

Для этих наемников, как и для захудалых дворян, которые делили с ними командные должности и легко перенимали их убеждения, успех недавнего кратковременного вторжения в Англию в 1641 году был достаточным основанием желать повторения столь выгодного похода. Хорошее жалованье и вольный постой в Англии оставили глубокий след в памяти этих искателей приключений, и надежда на контрибуцию в размере восьмисот пятидесяти фунтов стерлингов в день оказывала на них более сильное воздействие, нежели любые соображения государственного или нравственного порядка.

Но если войско стремилось в Англию, охваченное жадной наживы, то большинство шотландского народа воодушевляло нечто другое. Споров — и устных и на бумаге — относительно формы церковной власти было так много, что этот вопрос занимал умы гораздо сильнее, нежели догматы протестантского вероучения, признаваемые и той и другой стороной. Наиболее ревностные приверженцы епископальной церкви и сторонники пресвитерианства в своей нетерпимости не уступали папистам, и ни те, ни другие не допускали возможности спасения вне лона своей церкви. Тщетны были все попытки разъяснить этим фанатикам, что если бы создатель христианской веры считал какую-либо форму церковной власти необходимой для спасения души, об этом было бы сказано в евангелии с такой же точностью, как в книгах Ветхого завета. Обе партии продолжали стоять на своем с таким ожесточением, словно указания самого неба подтверждали их правоту. Епископ Лод в дни своего могущества сам подлил масла в огонь, попытавшись навязать шотландскому народу церковные обряды, чуждые его духу и традициям. Успешное противодействие этим попыткам и установление пресвитерианской религии, естественно, усилили приверженность к ней всего народа, видевшего в этой победе свое, народное, торжество. Лига и ковенант, признанный большинством шотландцев и затем силой меча введенный во всем шотландском королевстве, имели своей главной целью учреждение догматов пресвитерианской церкви и разгром еретиков и вероотступников; добившись в

своей стране водворения этого «златого светильника», шотландцы возымели великодушное и братское намерение воздвигнуть подобный же в Англии. Они предполагали, что это легко осуществить, если послать на помощь английскому парламенту значительный отряд шотландского войска. В то время в английском парламенте оппозицию возглавляла многочисленная и могущественная партия пресвитериан, тогда как индепенденты и прочие сектанты, которые впоследствии, при Кромвеле, взялись за меч и свергли власть пресвитериан как в Шотландии, так и в самой Англии, — предпочитали пока тайно выжидать под защитой более могучей и богатой партии. Поэтому введение единой религии и единой церкви в Англии и в Шотландии казалось делом столь же благим, сколь и желательным.

Прославленный сэръ Генри Вэйн, уполномоченный вести переговоры о союзе между Англией и Шотландией, понял, какое огромное влияние эта приманка имела на умы шотландцев; будучи сам ревностным индепендентом, он сумел одновременно и возбудить и обмануть пламенные надежды пресвитериан, взяв на себя обязательство преобразовать англиканскую церковь «согласно слову божию и сообразно устройству наилучших реформированных церквей». Слепленные своим фанатизмом, не питая и тени сомнения в *Jus divinum*

своих церковных установлений и не допуская мысли, чтобы подобные сомнения могли явиться у кого бы то ни было, шотландский парламент и шотландская церковь решили, что под этими словами подразумевается не «что иное, как введение пресвитерианства. Они продолжали пребывать в своем заблуждении до тех пор, пока сектанты, не нуждаясь более в их помощи, не дали им понять, что эти слова могут быть истолкованы и в пользу индепендентства и любого иного вероучения, лишь бы власть имущие признали его „согласным со словом Божиим и сообразным с устройством реформированных церквей“». Столь же неприятно поразило обманутых шотландцев то обстоятельство, что английские сектанты стремились к свержению монархии, тогда как шотландцы намеревались только ограничить королевскую власть, отнюдь не упраздняя самого престола. Однако в этом отношении они поступили как те неосторожные врачи, которые в начале болезни пичкают своего пациента таким множеством лекарств, что доводят его до полного истощения, когда уже никакие средства не в состоянии вернуть ему силы.

Но эти события в то время были еще делом будущего. Пока что шотландский парламент считал свое соглашение с Англией справедливым, разумным и благочестивым, и военные действия, предпринятые им, развивались весьма успешно. После соединения шотландского войска с войсками Ферфакса и Манчестера парламентская армия осадила Йорк и дала решительное сражение при Марстонмуре, в котором принц Руперт и маркиз Ньюкаслский были разбиты наголову. Правда, в этой победе на долю шотландских союзников выпало меньше славы, нежели того могли бы пожелать их соотечественники. Шотландская конница под предводительством Дэвида Лесли сражалась храбро и поделила честь победы с отрядом индепендентов, дравшихся под началом Кромвеля; но престарелый граф Ливен, один из шотландских генералов, сильным натиском принца Руперта был обращен в бегство и находился уже на расстоянии тридцати миль от поля битвы на пути в Шотландию, когда до него дошла весть о том, что парламентские войска одержали блестящую и полную победу.

Отправка армии в помощь английским пресвитерианам для похода против короля, ослабив мощь шотландского парламента, способствовала волнениям среди противников пресвитерианства, о чем мы упомянули в начале этой главы.

## Глава 2

Достала мать для сына еле-еле



Лишь латы мужа вместо колыбели.

Под лязг их ржавый погружаясь

В сон.

На жесткость лат не жаловался он.

Во сне пройдя войны грядущей беды,

Проснувшись, он уж дрался

До победы. Холл, «Сатиры»

Однажды поздним летним вечером, в те тревожные времена, о которых мы только что говорили, хорошо вооруженный молодой человек, видимо знатного рода, верхом на добром коне медленно поднимался по одному из тех крутых ущелий, которые соединяют горную Шотландию с равнинами Пертшира. Его сопровождало двое слуг — один из них вел в поводу навьюченную лошадь. Некоторое время путникам пришлось ехать вдоль берега горного озера, в глубоких водах которого отражались багряные лучи заходящего солнца. Неровная тропинка, по которой не без труда продвигались всадники, то пряталась в чаще старых берез и дубов, то вилась по краю обрыва, под выступами могучих скал. В иных местах горы, окаймлявшие северный берег живописного озера, возвышались сплошной, но менее отвесной стеной, и склоны их были покрыты темно-пурпуровым ковром вереска. В мирные времена столь романтичный пейзаж имел бы, несомненно, большую прелесть в глазах путника; но тот, кому приходится путешествовать в исполненные тревог и сомнений дни, мало обращает внимания на живописные картины природы.

Там, где лесная тропинка расширялась, знатный всадник ехал рядом с одним или обоими своими слугами и вел с ними серьезную беседу: сословные различия легко стираются между людьми, когда они подвергаются общей опасности. Предметом беседы служили намерения предводителей кланов, населяющих этот дикий край, и вероятность их участия в предстоящих политических столкновениях.

Путешественники не проехали и половины путл вдоль озера, и молодой вельможа только что указал своим спутникам вправо, на крутой подъем, где дорога, оставляя в стороне берег, сворачивала в ущелье, — как вдруг они увидели одинокого всадника, ехавшего прямо навстречу им. Отблеск солнечных лучей на его шлеме и латах свидетельствовал о том, что незнакомец в полном вооружении, и наши путники не могли пропустить его мимо, не допросив.

— Надо узнать, кто он такой и куда направляется, — сказал молодой вельможа.

Пришпорив коня, он поскакал впереди своих слуг так быстро, как только позволяла неровная дорога, к месту, где тропинка, пролегающая вдоль берега, пересекалась дорогой, ведущей к ущелью; тем самым он лишил незнакомца возможности свернуть в сторону и избежать встречи с ним.

Одинокий всадник, заметив скачущих к нему трех верховых, тоже было прибавил шагу, но, увидев, что те остановились и, выстроившись в ряд, преградили ему дорогу, — осадил коня и стал медленно продвигаться вперед, так что обе стороны имели полную возможность хорошенько рассмотреть друг друга. Под незнакомцем была прекрасная лошадь, отлично приспособленная к военной службе и тяжести, которую ей приходилось нести; всадник же сидел в своем боевом седле так уверенно, словно никогда не покидал его. На голове

всадника красовался блестящий стальной шлем с плюмажем, на груди — плотный панцирь, непроницаемый для мушкетных пуль, спина была защищена кирасой из более легкой стали. Эти доспехи вместе со стальными рукавицами и со стальными же нарукавниками, доходившими до самого локтя, были надеты поверх кожаного камзола.

Впереди, на луке седла, была укреплена пара пистолетов, размером значительно больше обыкновенных; они имели около двух футов длины и заряжались пулями весом в одну двадцатую фунта. На кожаном с широкой серебряной пряжкой поясе всадника слева висел длинный обоюдоострый меч с прочной рукояткой и лезвием, рассчитанным на то, чтобы и рубить и колоть; справа был прицеплен кинжал дюймов восемнадцати длиной; за спиной, на двух перевязях крест-накрест, висели мушкетон и патронташ с пулями. Стальные набедренники, спускавшиеся до самого верха высоченных ботфортов, завершали полное боевое вооружение кавалериста того времени.

Наружность самого незнакомца вполне соответствовала его боевым доспехам, с которыми он, по-видимому, давно свyksя. Он был выше среднего роста и достаточно крепкого сложения, чтобы свободно выносить тяжесть своего наступательного и оборонительного оружия. На вид ему было за сорок, и вся его внешность изобличала в нем человека решительного, воина, закаленного в боях, оставивших на его теле немало рубцов и шрамов.

Шагах в тридцати от группы всадников он остановил коня и приподнялся на стременах, видимо стараясь угадать намерения противника; передвинув мушкетон, он взял его в правую руку, готовясь пустить в ход, если того потребуют обстоятельства. Во всех отношениях, кроме численности, он имел явное преимущество перед теми, кто, по-видимому, возымел намерение преградить ему дорогу. Правда, предводитель маленького отряда ехал на прекрасном коне и был одет в богато расшитый кожаный камзол — полувоенную одежду того времени; но на его слугах были лишь простые, из домотканого сукна, куртки, которые едва ли могли защитить их от удара меча, нанесенного крепкой рукой. К тому же никто из них не имел при себе иного оружия, кроме палаша и пистолетов, без которых благородные господа, как и их слуги, редко пускались в путь в те тревожные времена.

С минуту обе стороны внимательно присматривались друг к другу; затем молодой вельможа задал вопрос, обычный для того времени в устах каждого путника при встрече с незнакомцем:

— Вы за кого?

— Сначала вы сами мне скажите, за кого вы? — отвечал воин. — Более сильная сторона должна высказываться первой.

— Мы за бога и за короля Карла, — отвечал молодой вельможа. — Теперь объявите свою партию, раз уж вы знаете нашу.

— Я за бога и за свое знамя, — отвечал всадник.

— За какое знамя? — спросил предводитель маленького отряда. — Кавалер или круглоголовый? За короля или за ковенант?

— Скажу вам по чести, сэръ, — отвечал воин, — мне не хотелось бы говорить вам не правду, ибо это недостойно дворянина и воина. Но, чтобы ответить на ваш вопрос вполне искренне, я должен раньше сам решить, к какой из партий, ныне враждующих между собой, я примкну окончательно, а этого я еще не могу сказать с уверенностью.

— Я полагаю, — сказал молодой вельможа, — что, когда речь идет о верности престолу и религии, ни один дворянин, ни один честный человек не может долго колебаться в выборе партии.

— Поистине, сэра, — возразил воин, — если вы это говорите с намерением оскорбить меня, задеть мою честь или благородное происхождение, то я с радостью приму ваш вызов и готов сразиться один против вас троих. Но если вы просто желаете вступить со мной в логические рассуждения, каковым я в молодости обучался в эбердинском духовном училище, то я готов доказать по всем правилам логики, что, откладывая на время свое решение принять ту или иную сторону в этих распрях, я поступаю не только как подобает честному человеку и дворянину, но и как должен поступить человек благоразумный и осторожный, впитавший с юных лет мудрость гуманитарных наук и затем удостоившийся чести воевать под знаменем непобедимого Северного Льва — великого Густава Адольфа и многих других храбрых военачальников, как лютеран и кальвинистов, так и папистов и арминьян.

Переговорив со своими спутниками, молодой предводитель сказал:

— Я охотно побеседую с вами, сэра, относительно столь животрепещущего вопроса и буду весьма рад, если мне удастся склонить вас в пользу того дела, которому я сам служу. Сейчас я направляюсь к одному из своих друзей, дом которого находится примерно в трех милях отсюда; если вы согласитесь сопровождать меня, вы найдете там удобный ночлег. А наутро никто не помешает вам продолжать путь, если вы не соизволите присоединиться к нам.

— А кто может мне в этом поручиться? — спросил осторожный воин. — Человек должен знать, с кем он имеет дело, иначе он легко может попасть впросак.

— Я граф Ментейт, — отвечал молодой вельможа, — и я надеюсь, что моя честь может служить достаточной порукой.

— Слову дворянина, носящего такое громкое имя, можно верить, — отвечал воин. Одним движением он перекинул мушкетон за спину, по-военному отдал честь молодому графу и, продолжая разговаривать, подъехал к нему ближе. — Надеюсь, — сказал он, — что мои собственные заверения в том, что я останусь добрым товарищем — *bon camarade* — вашей светлости как при мирных обстоятельствах, так и в минуту опасности, не будут отвергнуты с пренебрежением в эти тревожные времена, когда, как говорится, голове надежнее в стальном шлеме, нежели в мраморном дворце.

— Уверяю вас, сэра, — отвечал лорд Ментейт, — что, глядя на вас, я вполне могу оценить, как приятно находиться под вашей охраной; но я надеюсь, что вам на сей раз не придется проявлять вашу доблесть, ибо в доме, куда я намерен доставить вас, нас ожидает радушный и дружеский прием и хороший ночлег.

— Хороший ночлег, милорд, всегда является желанным, — заметил воин, — и выше его, пожалуй, можно поставить только хорошее жалованье или хорошую добычу, не говоря уже, конечно, о дворянской чести или выполнении воинского долга. И сказать по правде, милорд, ваше великодушное предложение мне тем более по сердцу, что я не знал, где мне с моим бедным товарищем (тут он потрепал по шее своего коня) найти пристанище на эту ночь.

— В таком случае разрешите узнать, — спросил лорд Ментейт, — кому мне посчастливилось служить квартирмейстером?

— Извольте, милорд, — отвечал воин. — Мое имя — Дальгетти, Дугалд Дальгетти, ритмейстер Дугалд Дальгетти из Драмсуэкета, к услугам вашей светлости. Это имя вам могло встретиться на страницах «*Qallo Belgicus*», или в «Шведском вестнике», или, если вы читаете по-голландски, в «*Fliegenden Mercoeur*», издаваемом в Лейпциге. Родитель мой своей расточительностью довел наше прекрасное родовое поместье до полного разорения, и к восемнадцати годам мне больше ничего не оставалось, как переправить свою ученость, приобретенную в эбердинском духовном училище, свою благородную кровь и дворянское звание да пару здоровых рук и ног в Германию, чтобы в ратном деле искать счастья и пробивать себе дорогу в жизнь. Да будет вам известно, милорд, что мои руки и ноги

пригодились мне куда более, нежели знатны» род и книжная премудрость. И пришлось же мне потаскаться с пикой, когда я служил простым солдатом под началом сэра Людовика Лесли! Тогда я так крепко затвердил воинский устав, что до самой смерти не забуду! Бывало, сэр, выстаиваешь в трескучий мороз по восьми часов в сутки — с полудня до восьми часов вечера — в карауле у дворца, в полном вооружении в стальных латах, шлеме и рукавицах; и все это лишь за то, что я, проболтав лишнюю минутку с квартирной хозяйкой, опоздал на перекличку.

— Однако, сэр, — возразил лорд Ментейт, — вам, без сомнения, доводилось бывать и в жарком деле, а не только нести службу на морозе, как вы изволите рассказывать?

— Об этом, милорд, мне самому не пристало говорить, но тот, кто дрался под Лейпцигом и под Лютценом, может сказать, что он побывал в бою; тот, кто был свидетелем взятия Франкфурта, Шпангейма, и Нюрнберга, и прочих городов, имеет кое-какое понятие об осадах, штурмах, атаках и вылазках.

— Но ваши труды и ваши заслуги, сэр, были, без сомнения, должным образом вознаграждены повышением по службе.

— Не скоро, милорд, не скоро! — отвечал Дальгетти. — Но по мере того как редели ряды наших славных соотечественников и старые воины, предводители доблестных шотландских полков, слывших грозой Германии, погибали один за другим — кто от чумы, кто на поле брани, — мы, их питомцы, по наследству занимали освободившиеся места. Я, сэр, прослужил шесть лет рядовым в дворянской роте и три года копьеносцем; от алебарды я отказался, считая это ниже своего дворянского достоинства, и, наконец, был произведен в прапорщики лейб-гвардии королевской Черной конницы. После этого я дослужился до чина лейтенанта, а затем ритмейстера под начальством непобедимого монарха, оплота протестантской веры. Северного Льва, грозы австрийцев, победоносного Густава Адольфа.

— Насколько я вас понимаю, капитан Дальгетти... Кажется, этот чин соответствует иноземному званию ритмейстера?

— Совершенно верно, — отвечал Дальгетти, — ритмейстер означает командир отряда.

— Так вот, — продолжал лорд Ментейт, — если я вас правильно понял, вы все же оставили службу у этого великого государя?

— После его смерти, — возразил Дальгетти, — только после его смерти, милорд, когда долг уже больше не удерживал меня в рядах его войска. Признаюсь вам откровенно, милорд, в этом войске было многое, что не так-то легко переварить благородному воину. Жалованье ритмейстеру, к примеру, полагается не бог весть какое, всего каких-нибудь шестьдесят талеров в месяц; однако непобедимый Густав никогда, бывало, не выплачивал более одной трети этой суммы, да и та выдавалась в виде ссуды; хотя — если считать по справедливости — сам великий монарх, в сущности, брал у нас займы остальные две трети. И мне случалось быть свидетелем того, как целые полки немцев и голштинцев поднимали бунт на поле сражения и, точно какие-нибудь конюхи, орали:

«Гельд, гельд!» — что означало требование денег, — вместо того, чтобы бросаться в бой, как это делали наши молодцы, отважные шотландцы, которые никогда не роняли своей чести ради презренной корысти.

— Но разве солдатам не выплачивали долг в установленные сроки? — спросил лорд Ментейт.

— Могу заверить вас честью, милорд, — отвечал Дальгетти, — что ни в какие сроки и никаким образом ни один крейцер не был нам возмещен! Лично я никогда не имел в кармане и

двадцати талеров за все время службы у непобедимого Густава; разве что посчастливится во время штурма, при взятии города или селения, когда доблестный воин, хорошо знакомый с правилами ведения войны, всегда найдет случай поживиться.

— Я скорее удивляюсь тому, что вы так долго прослужили в шведских войсках, сэра, — сказал лорд Ментейт, — нежели тому, что вы в конце концов оставили эту службу.

— И вы совершенно правы, сэра, — отвечал капитан, — но этот великий король и полководец, Северный Лев и оплот протестантской веры, так ловко выигрывал сраженья, брал города, захватывал страны и взимал контрибуции, что служить под его началом было истинным наслаждением для каждого дворянина, избравшего благородное ремесло воина. Я сам, милорд, был комендантом целого Дункельшпильского графства на Нижнем Рейне, жил во дворце пфальцграфа, распивал с товарищами лучшие вина из его погреба, взимал контрибуции, производил реквизиции и получал доходы, не забывая облизывать пальчики, как полагается всякому доброму повару. Но, увы, все это пошло прахом, как только наш великий полководец, сраженный тремя пулями, пал под Лютценом. Убедившись, что колесо фортуны повернулось в другую сторону, что займы и ссуды по-прежнему идут из нашего жалованья, а все случайные источники доходов иссякли, я подал в отставку и перешел на службу к Валленштейну, поступив в ирландский полк Уолтера Батлера.

— А позвольте узнать, — спросил лорд Ментейт, видимо заинтересованный рассказом доблестного воина, — как вам понравилось служить новому господину?

— Весьма понравилось, — отвечал капитан, — весьма! Не могу сказать, чтобы император платил лучше великого Густава. И колотили нас изрядно. Мне не раз приходилось на собственной шкуре испытывать хорошо знакомые мне шведские перышки; ваша светлость должны знать, что это не что иное, как раздвоенные заостренные кольца с железными наконечниками, выставляемые впереди отряда, вооруженного пиками, для защиты от натиска конницы. Эти самые шведские перышки хоть и выглядят очень красиво и напоминают кустарник или подлесок, а мощные пики, выстроенные в боевом порядке позади них, похожи на высокие сосны в лесной чаще, — далеко не так приятны на «ощупь», как гусиные перья. Однако, несмотря на тяжелые удары и легковесное жалованье, доблестный воин может преуспеть на службе у императора, ибо там к его случайной наживе не так придираются, как в шведской армии. И если офицер исправно выполняет свой долг на поле сражения, то ни Валленштейн, ни Паппенгейм, ни блаженной памяти старик Талли не стали бы выслушивать жалобы поселян или бюргеров на поведение солдат или их командира, ежели бы те позволили себе обобрать их до нитки. Так что опытный воин, умеющий, как говорят у нас в Шотландии, „приложить голову свиньи к хвосту поросенка“, может высосать из населения все то, что ему недоплачивает император.

— Все сполна, конечно, да еще с лихвой, — заметил лорд Ментейт.

— Без сомнения, милорд, — подтвердил Дальгетти с достоинством, — ибо вдвойне позорно было бы для воина-дворянина, если бы он запятнал свое доброе имя из-за безделицы.

— Скажите, пожалуйста, сэра, — продолжал лорд Ментейт, — что же, собственно, заставило вас покинуть столь выгодную службу?

— А вот что, сэра, — отвечал воин. — Был у нас в полку ирландец, майор О'Киллигэн, и как-то вечером мы крепко поспорили с ним о том, кто лучше и более достоин уважения — шотландцы или ирландцы. Наутро он вздумал отдавать мне приказания, держа жезл на отлете и концом вверх, вместо того чтобы опустить его концом вниз, как это подобает воспитанному командиру, когда он говорит с подчиненным, равным ему по званию, хотя бы и младшим по чину. По сему случаю мы дрались на дуэли; а так как после дознания наш полковник Уолтер Батлер изволил подвергнуть своего соотечественника более легкому

взысканию, нежели меня, то я, оскорбленный этой несправедливостью, вышел в отставку и перешел на службу к испанцам.

— Надеюсь, эта перемена оказалась для вас к лучшему? — спросил лорд Ментейт.

— Сказать по правде, — отвечал ритмейстер, — сетовать мне не приходилось. Жалованье нам выдавали довольно аккуратно, благо деньги поставлялись богатыми фламандцами и валлонами из Нидерландов. Постой был отличный, фламандские пшеничные булки куда вкуснее ржаного шведского хлеба, а рейнское вино мы имели в таком изобилии, в каком, бывало, я не видывал и черного ростокского пива в лагере Густава. Сражений не было, обязанностей было немного, да и те — хочешь выполняй, хочешь нет, как угодно. Отличное житье для воина, несколько утомленного походами и битвами, стяжавшего ценой собственной крови достаточную славу, чтобы иметь право отдохнуть и пожить в свое удовольствие.

— А нельзя ли узнать, — снова спросил лорд Ментейт, — почему вы, находясь в столь завидном — судя по вашим словам — положении, все же покинули службу в испанских войсках?

— Примите во внимание, милорд, — ответил капитан Дальгетти, — что испанцы спесивы сверх всякой меры и отнюдь не умеют ценить по заслугам благородного иностранца, который соблаговолил служить в их рядах. А ведь любому честному воину обидно, ежели его затирают и обходят по службе, отдавая предпочтение какому-нибудь надутому сеньору, который, когда дело коснется того, чтобы первым броситься в атаку с копьем наперевес, охотно пропустит вперед шотландца! Кроме того, сэр, у меня совесть была неспокойна в отношении религии.

— Я никак не думал, капитан Дальгетти, — заметил граф Ментейт, — что старый воин, столько раз менявший службу, может быть особенно щепетилен в этом вопросе.

— Да я, милорд, вовсе и не щепетилен, — сказал капитан, — ибо я полагаю, что решать подобные вопросы как за меня, так и за любого храброго воина входит в обязанности полкового священника, тем более что, насколько мне известно, и делать-то ему больше нечего, а жалованье и довольствие он как-никак получает. Но тут был особый случай, милорд, — так сказать, *casus improvisus*

, когда возле меня не было священника моего вероисповедания, который мог бы дать мне добрый совет. Короче говоря, я вскоре убедился, что, хотя на мою принадлежность к протестантской церкви и смотрели сквозь пальцы, ибо я хорошо знал свое дело и в военных вопросах был опытнее всех донов нашего полка вместе взятых, — однако, когда мы стояли гарнизоном, от меня требовалось, чтобы я вместе со всеми ходил к обедне. А я, милорд, как истый шотландец, притом же воспитанник эбердинского духовного училища, привык считать обедню худшим примером папизма, слепого идолопоклонства и не желал потворствовать этому своим присутствием. Правда, я посоветовался со своим почтенным соотечественником, неким отцом Фэйтсайдом из шотландского монастыря в Вюрцбурге...

— И я надеюсь, — заметил лорд Ментейт, — что вы получили точные разъяснения у этого святого отца?

— Как нельзя более точные, — отвечал капитан Дальгетти, — принимая во внимание, что мы с ним распили добрую полдюжину рейнского и опорожнили около двух кувшинов киршвассера. Отец Фэйтсайд объявил мне, что, по его разумению, для такого закоренелого еретика, как я, уже все едино — ходить или не ходить к обедне, ибо я и без того обречен на вечную погибель, как нераскаившийся грешник, упорствующий в своей преступной ереси. Несколько смущенный таким ответом, я обратился к голландскому пастору реформатской церкви, и, тот сказал, что, по его мнению, религия не запрещает мне ходить к обедне, ибо

пророк разрешил Нееману, могущественному вельможе, военачальнику сирийскому, сопровождать своего повелителя в храм Риммона, языческого бога, сиречь идола, и поклониться ему, когда царь обопрется на его руку. Но и этот ответ не удовлетворил меня, прежде всего потому, что нельзя же все-таки равнять помазанного царя Сирии с нашим испанским полковником, которого я мог бы сбить с ног одним щелчком, а главное, я не нашел ни в одной статье воинского устава указаний на то, что я обязан ходить к обедне; кроме того, мне не было предложено никакого возмещения, ни в виде дополнительного жалованья, ни в виде особого вознаграждения, за ущерб, который я нанес бы своей душе.

— Так что вы опять переменили службу? — спросил Ментейт.

— Ваша правда, милорд. И, после нескольких кратковременных попыток послужить двум-трем другим государям, я даже одно время состоял на службе у голландцев.

— И что же, эта служба пришлась вам по вкусу?

— Ах, милорд! — воскликнул воин. — Поведение голландцев в дни платежа должно бы служить примером для всей Европы! Тут уж ни займов, ни ссуд, ни проволочек, ни обмана: все точно рассчитано и выплачено, как в банке. Квартиры отличные, довольствие превосходное; но уж зато, сэр, голландцы — народ аккуратный, щепетильный, ничем не дадут поживиться! Так что уж если какой-нибудь простолюдин пожалуется на пробитый череп или кабатчик — на разбитый кувшин, а глупая девчонка запищит чуть погромче, честного воина притянут к ответу, да не перед своим военным судом, который мог бы разобраться в его проступке и наложить должное взыскание, а перед каким-нибудь бургомистром из ремесленников низкого звания, а тот начнет угрожать тюрьмой, виселицей и еще невесть чем, как будто бы он имеет дело с одним из своих презренных толстопузых мужланов. Никак я не мог ужиться с этими неблагодарными плебеями; они хоть и не могут собственными силами защищать свою страну, однако не дают благородному иностранцу, состоящему у них на службе, ничего, кроме скудного жалованья. А кто же, знающий себе цену, не предпочтет такому порядку привольное житье и почтительное обращение? Вот я и решил расстаться с мингерями. А тут прослышал я, к великой моей радости, что нынче летом найдется мне дело по душе в моих родных краях, — вот я и явился сюда, как говорится, словно нищий на брачный пир, дабы предложить моим возлюбленным соотечественникам свой многолетний боевой опыт, добытый в чужих странах. Теперь ваша светлость знает вкратце историю моей жизни, за исключением деяний, совершенных мной на поле брани, при осадах, штурмах и атаках, но о них скучно рассказывать, да и, пожалуй, приличнее было бы вам услышать об этом из других уст, нежели из моих собственных.

### Глава 3

Министрам толковать законы надо...

Бой — жребий мой, а хлеб -

Моя награда.

Ландскнехт одно лишь мает на войне:

Кто платит вдвое, тот и прав вдвойне. Донн

Тропинка постепенно становилась все уже и продвижение по ней все затруднительнее, так

что разговор между обоими спутниками сам собой оборвался, и лорд Ментейт, придержав лошадь, стал тихо переговариваться со своими слугами. Капитан Дальгетти, очутившись теперь впереди маленького отряда, медленно и с большим трудом взбирался по крутому и каменистому склону; проехав с четверть мили, они наконец достигли высокогорной долины, орошаемой стремительным потоком; зеленеющие свежей травой отлогие берега были достаточно широки, и всадники продолжали путь конь о конь.

Лорд Ментейт не замедлил возобновить прерванную беседу.

— Мне думается, — сказал он, обращаясь к капитану Дальгетти, — что благородный кавалер, столь долгое время сопровождавший доблестного шведского короля в его походах и питающий вполне понятное презрение к голландским штатам жалких ремесленников, должен был бы не задумываясь принять сторону короля Карла, отдав ему предпочтение перед теми худородными круглоголовыми ханжами и негодьями, которые взбунтовались против его власти.

— Вы рассуждаете логично, милорд, — отвечал Дальгетти, — и *caeteris paribus* я, пожалуй, был бы склонен взглянуть на это дело вашими глазами. Но у нас на юге есть хорошая поговорка: «Словами репу не подмаслишь». Возвратившись на родину, я понаслушался разных разговоров и убедился в том, что честный воин может свободно принять в этой междоусобной войне ту сторону, которая покажется ему наиболее выгодной. «Верность престолу», — говорите вы, милорд. «Свобода!» — кричат по ту сторону предгорья. «За короля!» — орут одни. «За парламент!» — режут другие. «Да здравствует Монтроз!» — провозглашает Доналд, подбрасывая вверх свою шапочку. «Многие лета Аргайлу и Ливену!» — кричит Сондерс на юге, размахивая шляпой с пером. «Сражайся за епископов!» — подстрекает священник в стихаре и мантии. «Твердо стой за пресвитерианскую церковь!» — восклицает пастор в кальвинистской шапочке и белом воротнике. Все это хорошие слова, прекрасные слова! Но чья сторона лучше — не могу решить. Одно могу сказать, что мне частенько приходилось драться по колено в крови за дела и похуже...

— В таком случае, капитан Дальгетти, — промолвил граф, — если вам кажется, что обе стороны правы, не будете ли вы так любезны сообщить нам, чем вы намерены руководствоваться при окончательном выборе?

— Два соображения решат дело, милорд, — отвечал капитан. — Во-первых, которая из двух сторон будет более нуждаться в моих услугах; а во-вторых — и это условие вытекает из первого, — которая из двух сторон лучше вознаградит меня за мои услуги. Откровенно говоря, милорд, в настоящее время оба эти соображения скорее склоняют меня на сторону парламента.

— Прошу вас объяснить, какие причины заставляют вас так думать, — возразил лорд Ментейт, — и, может быть, мне удастся выставить против них более веские доказательства.

— Сэр, — начал капитан Дальгетти, — я не буду глух к вашим уговорам, если это окажется совместимо с моей честью и личной выгодой. Дело в том, милорд, что в этих диких горах собирается, или уже собрался, большой отряд шотландских горцев, сторонников короля. А вам, сэр, хорошо известны нравы наших горцев. Я не отрицаю, что это народ крепкий телом и стойкий духом, который умеет хорошо сражаться, на свой лад; но они воюют как дикари и о настоящей военной тактике и дисциплине знают не больше, чем древние скифы или американские индейцы наше! о времени. Они и понятия не имеют о том, что такое немецкий рожок или барабан, как поют сигналы:

«В поход!», «Тревога!», «На приступ!», «Отбой!», или играют утреннюю или вечернюю зорю, или отдают еще какую-нибудь команду; а звуки юс проклятой скрипучей волынки, которые они сами якобы отлично понимают, совершенно непостижимы для слуха испытанного воина,



привыкшего воевать по всем правилам военного искусства. Стало быть, вздумай я командовать этой ордой головорезов в юбках, никто бы меня не понял, а хоть бы и поняли, — судите сами, милорд, могу ли я рассчитывать на послушание этих полудиких горцев, которые привыкли почитать своих танов и предводителей, выполнять их волю и не желают повиноваться военному начальству? Если бы я, к примеру, стал их учить строиться в каре, то есть становиться в шеренги так, чтобы число людей в каждом ряду соответствовало квадратному корню всего числа людей, — что мог бы я ожидать в награду за сообщение столь драгоценной тайны военной тактики, кроме удара кинжалом в живот за то, что поместил какого-нибудь Мак-Элистер Мора, Мак-Шимея или Капперфэ на фланге или в арьергарде, тогда как он желает находиться в авангарде? Поистине, хорошо сказано в священном писании: «Не мечи бисера перед свиньями, ибо они обратятся на тебя и растерзают тебя».

— Я полагаю, Андерсон, — обратился лорд Ментейт к одному из своих слуг, ехавших за ним следом, — вам нетрудно будет убедить этого джентльмена в том, что мы нуждаемся в опытных офицерах и гораздо более склонны воспользоваться их знаниями, нежели он, по-видимому, предполагает.

— С вашего позволения, — проговорил Андерсон, почтительно приподняв шапку, — когда подоспеет ирландская пехота, которую мы поджидаем и которая, вероятно, уже высадилась в Западной Шотландии, нам понадобятся опытные воины для обучения новобранцев.

— Что же, я рад, весьма рад послужить у вас, — заявил Дальгетти. — Ирландцы — славные ребята, лучше и не надо на поле сражения! Однажды, при взятии Франкфурта-на-Одере, мне довелось видеть отряд ирландцев; он один выдержал натиск врага и, действуя мечом и копьем, отбил два шведских полка, желтый и голубой, из числа наиболее стойких, сражавшихся под знаменами бессмертного Густава. И хотя храбрый Хепберн, отважный Ламсдейл, бесстрашный Монро и другие начальники прорвались в город в другом месте, но если бы мы повсюду встретили подобное сопротивление, то нам пришлось бы отступить с большими потерями и малым успехом. Вот почему эти отважные ирландцы, хоть и были, как водится, преданы смерти все до единого, все же заслужили бессмертную славу и почет. И вот ради них я люблю и уважаю всех, принадлежащих к этой нации, которую почитаю первой после моих соотечественников-шотландцев.

— Думаю, что почти наверное могу обещать вам службу офицера в ирландской армии, — сказал Ментейт, — если вы согласитесь принять сторону короля.

— Однако, — возразил капитан Дальгетти, — второй и наиболее существенный вопрос еще ждет ответа; ибо, хотя я и считаю, что не пристало воину говорить лишь о презренных деньгах и о жалованье, как это делают подлые наемники, немецкие ландскнехты, о которых я уже имел случай упоминать, и хотя я с мечом в руках готов доказать, что почитаю честь выше любого жалованья, вольного постоя и легкой наживы, — однако, *contrario*, поскольку солдатское жалованье есть вознаграждение за его службу, благоразумному и осмотрительному воину надлежит заранее удостовериться, какую мзду он получит за свои труды и из каких средств она будет выплачиваться. И поистине, милорд, по всему, что я здесь видел и слышал, мне ясно, что мощна-то в руках парламента. Горцев, пожалуй, легко ублаготворить, если разрешить им угонять скот; что касается ирландцев, то ваша светлость и ваши благородные союзники могут, конечно, по старому военному обычаю, выплачивать им жалованье так редкой в таком малом размере, как вам заблагорассудится. Однако такой способ оплаты не применим к благородному кавалеру, коим являюсь, к примеру, я, ибо мы должны содержать своих лошадей, слуг, оружие, снаряжение и не можем, да и не хотим, идти воевать за свой счет.

Андерсон — слуга, который уже и раньше вступал в разговор, — почтительно обратился к своему господину.

— Я полагаю, милорд, — сказал он, — что, с вашего разрешения, я мог бы кое-что сообщить капитану Дальгетти, что помогло бы рассеять его второе сомнение так же легко, как и первое. Он спрашивает нас, где мы достанем денег для выплаты жалованья; но, по моему скромному разумению, источники богатств открыты для нас так же, как и для пресвитериан. Они облагают страну налогами по своему усмотрению и расхищают имущество друзей короля; нагрянув на южную часть страны во главе наших горцев и ирландской пехоты, мы найдем немало разжиревших предателей; награбленное ими добро пополнит нашу военную казну и пойдет на уплату жалованья нашему войску. Кроме того, начнутся конфискации, и король, жалуя конфискованные поместья отважным воинам, сражающимся под его знаменами, наградит своих друзей и заодно накажет своих врагов. Короче говоря, тот, кто присоединится к круглоголовым псам, будет получать грошовое жалованье, а тот, кто станет под наши знамена, может надеяться на титул рыцаря, барона или графа, если посчастливится.

— Вы когда-нибудь служили, любезный друг? — спросил капитан Дальгетти, обращаясь к Андерсону.

— Недолго, сэръ, только во время наших междоусобиц, — скромно отвечал тот.

— И никогда не служили ни в Германии, ни в Нидерландах? — продолжал Дальгетти.

— Не имел чести, — отвечал Андерсон.

— Должен признать, что слуга вашей светлости обнаруживает весьма здравый, разумный взгляд на военное дело, — заметил Дальгетти, обращаясь к лорду Ментейту. — Правда, то, что он предлагает, несколько не по правилам и сильно смахивает на шкуру неубитого медведя. Однако я приму его слова к сведению.

— И хорошо сделаете, — оказал лорд Ментейт. — У вас впереди целая ночь для размышлений, ибо мы уже приближаемся к дому, где, ручаюсь, вас ожидает радушный прием.

— А это сейчас будет весьма кстати, — отвечал капитан, — ибо у меня еще ничего не было во рту с самого утра, кроме простой овсяной лепешки, да я ту мне пришлось разделить с моим конем. Я так отощал, что даже вынужден был затянуть пояс потуже, опасаясь, как бы он не соскользнул с меня!

## Глава 4

Когда-то (их не встретишь ныне!)

Бродили горцы здесь в долине.

Был каждый ловок, крепко сбит,

При нем кинжал, палаш, и щит.

В штанах коротких щеголяя,

Бродили в Лохэбере, в Скае,

Накинув плед. Надев берет...

Вы знали их? Хорош портрет? Местон

Разговаривая таким образом, путники подъехали к холму, поросшему старым пихтовым лесом. Верхние обнаженные ветви самых высоких деревьев вырисовывались на фоне вечернего неба, Пламенея в лучах заходящего солнца. В самой чаще леса высились башни, вернее сказать — печные трубы господского дома, называемого замком, куда держали путь наши всадники.

По обычаю того времени дом состоял из двух узких строений под островерхой крышей, пересекающихся крест-накрест под прямым углом. Две сторожевые вышки и башенки по углам крыши, сильно напоминающие перекрещивающиеся железные прутья, похожие на тюремные решетки. Ворота во двор были заперты на все засовы, и лишь после долгих переговоров одна из створок открылась, и перед путниками появилось двое слуг, здоровенных горцев, вооруженных с ног до головы и готовых, подобно Битию и Пандору в «Энеиде», преградить путь любому опасному пришельцу.

Приблизившись, путники заметили, что обитателями замка были приняты меры предосторожности, необходимые в столь смутные и тревожные времена: в стенах и в каменной ограде были пробиты новые бойницы; на окнах появились перекрещивающиеся железные прутья, похожие на тюремные решетки. Ворота во двор были заперты на все засовы, и лишь после долгих переговоров одна из створок открылась, и перед путниками появилось двое слуг, здоровенных горцев, вооруженных с ног до головы и готовых, подобно Битию и Пандору в «Энеиде», преградить путь любому опасному пришельцу.

Когда путешественников наконец впустили во двор, они увидели еще новые приготовления к обороне: вокруг стен шли подмости для мушкетеров, а несколько легких пушек, так называемых фальконетов, были размещены в угловых и боковых башнях.

Толпа слуг в национальной шотландской одежде тотчас же выбежала из дому; одни бросились принимать у приехавших лошадей, другие выстроились у входа, готовые проводить гостей во внутренние покои. Однако капитан Дальгетти отказался от всех, предложенных ему услуг и пожелал самолично позаботиться о своем коне.

— Таков уж мой обычай, друзья мои, — всегда самому ставить в конюшню моего Густава (ибо это имя я дал ему в честь моего непобедимого военачальника). Мы старые друзья и боевые товарищи, и, так же как мне служат его ноги, ему служит мой язык, требуя для него то, в чем он нуждается. — С этими словами капитан Дальгетти без дальнейших церемоний проследовал в конюшню за своим скакуном.

Ни лорд Ментейт, ни его спутники не оказали подобного внимания своим коням и, поручив их заботам прислуги, вошли в дом. Здесь, в темных сводчатых сенях, в числе прочей разнородной утвари красовалась огромная бочка дешевого пива, а около нее стояло несколько деревянных не то ковшей, не то чарок с двумя ручками, словно приглашая всех, кто пожелает, воспользоваться ими. Лорд Ментейт без всяких церемоний вынул из бочки втулку, напился сам и передал чарку Андерсону, который последовал примеру своего господина, предварительно выплеснув, однако, остатки пива из чарки и слегка ополоснув ее.

— Кой черт! — возмутился старый слуга-горец. — Он, видите ли, не может пить после своего хозяина, не вымыв чашки и не расплескав пива. Пропади ты пропадом!

— Я вырос во Франции, — отвечал Андерсон, — а там ни один человек не станет пить из чашки после другого, разве только после молодой женщины.

— А ну их к черту, выдумают тоже! — сказал Доналд. — А по мне, если пиво доброе, не все ли тебе равно, чьи чужие усы побывают в чашке раньше твоих?

Товарищ Андерсона выпил пиво, не соблюдая церемоний, столь возмущивших Доналда, и оба они последовали за своим господином в зал с низкими каменными сводами, служивший, по

обычаю шотландских знатных семейств, местом сбора для всех обитателей замка. Там было полутемно — тусклый свет исходил только от огромного очага в дальнем углу, где тлели куски торфа; из-за пронизывающей сырости зал отапливали даже в летние месяцы. Два-три десятка щитов, столько же шотландских палашей и кинжалов, пледы, кремневые ружья, мушкеты, луки и арбалеты, секиры, посеребренные латы, стальные шлемы и шишаки, старинные кольчуги — рубашки из металлической сетки с такими же капюшонами и рукавами — все это вперемежку висело по стенам и могло бы в течение целого месяца служить развлечением любому члену наших обществ любителей старины. Но в те времена подобные предметы были слишком привычны, чтобы привлечь внимание посетителей замка.

Посреди зала стоял громоздкий дубовый стол, на котором Доналд с почтительным радушием поспешил «расставить предназначавшееся для лорда Ментейта угощение, состоявшее из молока, масла, козьего сыра, кувшина пива и фляги шафранной водки, между тем как младший по должности слуга готовил такую же закуску на нижнем конце стола — для спутников приезжего гостя. Расстояние между верхним и нижним концом стола считалось, по понятиям того времени, достаточной дистанцией между господином и слугой, даже если первый и принадлежал, как граф Ментейт, к знатному роду. Во время этих приготовлений гости отогревались у огня: молодой граф стоял у самого очага, а слуги — на некотором расстоянии от него.

— Что вы скажете о нашем спутнике, Андерсон? — обратился лорд Ментейт к своему слуге.

— Малый хоть куда, — ответил Андерсон, — если правда все то, что он о себе рассказывает. Неплохо бы нам иметь десятка два таких молодцов, чтобы хоть как-нибудь обтесать наших ирландцев.

— Я держусь иного мнения, Андерсон, — возразил лорд Ментейт. — Я полагаю, что этот Дальяетти — одна из тех ненасытных пиявок, которые, насосавшись крови в чужих странах, возвращаются на родину, чтобы упиться кровью своих соотечественников. Стыд и позор всей этой своре продажных вояк! Они на всю Европу ославили шотландцев, этим именем называют теперь презренных наемников, которые не знают ни чести, ни убеждений, а только свое месячное жалованье, и готовы изменить любому знамени по воле случая или ради более высокой платы; их жадности и корыстолюбия, их погоне за чужим добром и беспечной жизнью мы в немалой доле обязаны той междоусобной войной, которая заставляет нас обратить наши мечи против своих же братьев. У меня едва хватило терпения слушать болтовню этого наемного гладиатора, хотя вместе с тем я с трудом удерживался от смеха над его беспримерной наглостью!

— Прошу прощения, ваша светлость, — сказал Андерсон, — но я позволю себе посоветовать вам при теперешних обстоятельствах умерить порывы вашего благородного негодования: мы, к сожалению, не можем осуществить своих намерений без помощи тех, кто движим более низкими побуждениями, нежели наши. Мы не можем отказаться от услуг таких молодцов, как наш приятель — капитан Дальяетти. Изъясняясь библейским слогом святош из английского парламента, мы говорим: «Сыны Зеруаха еще слишком опасны для нас».

— Стало быть, мне и впредь придется притворяться, — сказал лорд Ментейт, — как я делал это до сих пор, поняв ваш намек. Но я с удовольствием послал бы этого молодца ко всем чертям!

— Да, милорд, — заключил Андерсон, — помните, что укусы скорпиона лечат, приложив к ранке другого, раздавленного скорпиона. Но тише... Нас могут услышать.

Одна из дверей зала отворилась, и на пороге показался рослый мужчина, чья гордая осанка и уверенная поступь, равно как его одежда и орлиное перо на шапочке, изобличали человека высокого звания. Он медленно подошел к столу, не обращая внимания на Ментейта, который

поздоровался с ним, назвав его Алланом.

— Не нужно сейчас с ним заговаривать, — шепнул графу старый слуга.

Вошедший сел на пустую скамью перед очагом и, вперив неподвижный взгляд в рдеющие угли, погрузился в глубокое раздумье. Его мрачный взгляд, дикое и исступленное выражение лица выдавали в нем человека, который так поглощен собственными мыслями, что не замечает окружающего. Будь это жителе Нижней Шотландии, такая угрюмая суровость — быть может, следствие уединенной и аскетической жизни — могла бы быть приписана религиозному фанатизму; но шотландские горцы редко страдали этим духовным недугом, столь распространенным в ту пору среди англичан и обитателей Нижней Шотландии. Впрочем, и у горцев были свои предрассудки, затуманивавшие их разум нелепыми бреднями так же сильно, как пуританство затуманивало умы их соседей.

— Ваша милость, — повторил старый слуга, приблизившись к лорду Ментейту и говоря еле слышным шепотом, — вам лучше сейчас не обращаться к Аллану — рассудок его помрачен.

Лорд Ментейт кивнул головой и уже больше не делал попыток заговорить с молчаливым хозяином.

— Не сказал ли я, — внезапно произнес последний, выпрямившись во весь рост и пристально глядя на старого слугу, — не сказал ли я, что придут четверо? А здесь их только трое.

— Верно, так ты сказал, Аллан, — отвечал старый горец, — и четвертый уже идет сюда из конюшни, громыхая железом. Он точно краб в скорлупе — и грудь, и спина, и бедра, и ноги у него в латах. А куда прикажешь посадить его — подле Ментейта или на нижнем конце стола, рядом с его почтенными слугами?

Лорд Ментейт сам ответил на этот вопрос, указав на стул рядом с собой.

— А вот и он, — объявил Доналд, увидев входящего в зал капитана Дальгетти. — Надеюсь, в ожидании более сытной трапезы, господа не откажутся закусить хлебом и сыром. Как только хозяин со своими гостями, прибывшими из Англии, вернется с охоты, наш повар Дугалд угостит вас жареной козлятиной и дикой олениной.

Между тем капитан Дальгетти вошел в комнату и, подойдя прямо к стулу, стоявшему рядом со стулом лорда Ментейта, облокотился на спинку. Андерсон и его товарищ почтительно ожидали в конце стола разрешения занять свои места; трое или четверо горцев, под надзором старого Доналда, сновали взад и вперед, расставляя на столе принесенные яства, или стояли за стульями гостей, ожидая приказаний.

В самый разгар этих приготовлений Аллан внезапно вскочил с места и, выхватив из рук слуги светильник, поднес его к самому лицу Дальгетти, сурово и внимательно разглядывая его.

— Вот уж, поистине, — промолвил Дальгетти с некоторой досадой, когда Аллан, молча покачав головой, прекратил свой осмотр, — мы с этим молодцом, надо думать, сразу узнаем друг друга, доведись нам снова встретиться!

Тем временем Аллан решительным шагом направился к нижнему концу стола и, осветив лицо Андерсона и его товарища, подверг их столь же тщательному осмотру. Постояв с минуту в глубоком раздумье, он потер рукой лоб, потом вдруг схватил Андерсона за руку и, прежде чем тот успел оказать малейшее сопротивление, повел — вернее, потащил — его к свободному месту на верхнем конце стола. Молча указав Андерсону на пустой стул, Аллан с той же стремительностью повлек капитана Дальгетти к противоположному концу стола. Капитан, взбешенный такой вольностью обращения, попытался оттолкнуть Аллана; но, несмотря на свое богатырское сложение, он оказался слабее исполина-горца, и тот с такой силой

отбросил его, что капитан отлетел на несколько шагов и растянулся во весь рост, огласив каменные своды грохотом своих доспехов. Поднявшись на ноги, он прежде всего выхватил меч и бросился на Аллана, который, скрестив на груди руки, ожидал его нападения с презрительным равнодушием. Лорд Ментейт и его спутники поспешили стать между противниками, стараясь успокоить их, тогда как слуги замка, сорвав со стен оружие, уже готовились принять участие в схватке.

— Он не в своем уме, — прошептал Ментейт на ухо капитану, — совсем помешанный, нет никакого смысла вступать с ним в ссору.

— Если ваша светлость ручается за то, что он поп *compro mentis*, — отвечал Дальгетти, — что, впрочем, вполне подтверждается его обращением и поступками, то дело должно на этом кончиться, ибо безумец не может ни нанести обиды, ни дать удовлетворения на поле чести. Но могу вас заверить, если бы я уже успел подкрепиться и пропустить бутылочку рейнского, я бы так легко не поддался ему. И, право, жаль, что он слаб рассудком, будучи таким дюжим молодцом, который должен отлично владеть копьем, моргенштерном или любым иным оружием.

Итак, мир был восстановлен, и гости уселись за стол в прежнем порядке, уже более не нарушаемом Алланом, который вернулся на скамью у очага и вновь погрузился в свои думы. Лорд Ментейт, обратившись к старейшему из слуг, поспешил завести с ним беседу, чтобы сгладить впечатление от недавнего происшествия.

— Ты говоришь, Доналд, что твой господин отправился в горы и вместе с ним приезжие англичане?

— Именно так, как ваша милость изволит говорить; он охотится в горах, и с ним два англичанина, один из них — сэра Майлс Масгрейв, другой — Кристофер Холл, оба из Камрайка, — так, кажется, они называли свою местность.

— Холл и Масгрейв? — переспросил лорд Ментейт, взглянув на своих спутников. — Их-то мы и хотели видеть.

— А вот я, — сказал Доналд, — желал бы никогда не видеть их в наших краях, ибо они явились сюда только затем, чтобы пустить нас по миру.

— Что с тобой, Доналд? — удивился лорд Ментейт. — Ты прежде никогда не скупился на мясо и пиво. И хоть они и англичане, но вряд ли съедят весь скот, который пасется на лугах твоего хозяина.

— А хоть бы и съели! — отвечал Доналд. — Это бы с полбеды. Здесь у нас немало преданных людей, которые не дадут нам голодать, пока на землях между замком и Пертом пасется хоть один козленок. Тут дело похуже — об заклад побились!

— Об заклад? — с удивлением повторил лорд Ментейт.

— Вот то-то и оно! — продолжал Доналд, горя желанием выложить свои новости лорду Ментейту, с любопытством ожидавшему рассказа старика. — Ведь ваша милость — родня нашим господам и друг семьи, да к тому же вы вскорости и так об этом услышите, почему мне не рассказать вам сейчас? Так вот, коли угодно знать, когда наш хозяин в последний раз ездил в Англию, — а ездит он туда чаще, нежели того хотели бы его друзья, — он был приглашен в дом этого самого сэра Майлса Масгрейва; и там, извольте ли видеть, было поставлено на стол шесть шандалов, и, говорят, эти шандалы вдвое больше тех, что стоят в Данблейнской церкви: и не какие-нибудь медные, железные или оловянные, а чистого серебра... Уж и гордости у этих англичан — просто не знаки, куда девать ее! Вот и начали они поддразнивать нашего хозяина, будто он никогда не видывал такого богатства в своей нищей

стране; а наш хозяин, разгневавшись, что при нем поносят его родину, поклялся как истый шотландец, будто у него дома, в его замке, еще больше шандалов, да таких, каких и не бывало в домах Камберленда; Камберленд она называется — местность-то ихняя.

— Слова, достойные верного сына своей родины, — заметил лорд Ментейт.

— Так-то оно так, — сказал Доналд, — но лучше бы его милость на сей раз попридержал язык; ведь если при англичанах сболтнешь что-нибудь лишнее, они сейчас же и заставят тебя биться об заклад, да так быстро, что кузнец не успел бы лошадь подковать. Вот и пришлось моему хозяину либо взять свои слова обратно, либо прозакладывать две сотни мерков.

Конечно, он принял заклад, чтобы не срамиться перед этими господами. А теперь вот нужно раскошелиться! Оттого, думается мне, он и не торопится возвращаться домой.

— Судя по тому, что мне известно о вашем фамильном серебре, — заметил лорд Ментейт, — твой хозяин, Доналд, наверняка потеряет свою ставку.

— Верно, верно, ваша милость. А где он денежки возьмет — ума не приложу, — он уже занимал направо и налево. Я советовал ему потихоньку упрятать обоих англичан вместе с их слугами в подземелье под башней и держать их там до тех пор, покуда они сами не откажутся от заклада, — да хозяин и слушать не хочет.

При этих словах Аллан вскочил с места, большими шагами подошел к старому слуге и громовым голосом произнес:

— Да как ты смел давать моему брату такие подлые советы? И как ты смеешь говорить, что он проиграет ставку, если ему угодно было побиться об заклад?

— Твоя правда, Аллан Мак-Олей, — отвечал старик. — Не дело, чтоб сын моего отца перечил сыну твоего отца, и, стало быть, господин мой, надо думать, выиграет заклад! Да только я-то хорошо знаю, что в доме у нас не найдется ни одного шандала, кроме старых железных светильников, которые остались со времен лорда Кеннета, и оловянных подсвечников, которые ваш батюшка заказывал старику Уилли Уинки; а что до серебра, то сам черт не сыщет в доме ни одной унции, если не считать старой молочной кружки вашей покойной матушки, да и та без крышки и одна ножка сломана.

— Молчи, старик! — гневно крикнул Аллан. — А вас, господа, если ваша трапеза окончена, я попрошу покинуть зал; я должен все приготовить к приему наших английских гостей.

— Идемте, — шепнул старый слуга, дернув за рукав лорда Ментейта. — На него нашло, — добавил он, указывая глазами на Аллана, — теперь ему нельзя перечить.

Все вышли из зала, и Доналд проводил Ментейта и капитана Дальгетти в одну сторону, а один из младших слуг повел обоих спутников лорда в другую. Едва Ментейт успел войти в небольшую комнату, нечто вроде кабинета, как явился сам владелец замка, Ангюс Мак-Олей, в сопровождении английских гостей. Встреча была самая дружеская, ибо лорд Ментейт был хорошо знаком с обоими англичанами; а капитан Дальгетти, представленный лордом Ментейтом, был радушно принят хозяином дома. Но после первых радостных приветствий лорд Ментейт не мог не заметить, что чело его друга омрачено печалью.

— Вы, вероятно, уже слышали, — сказал сэр Кристофер Холл, — что дело, затеянное нами в Камберленде, окончилось неудачей? Милиция не захотела двинуться в Шотландию, а ваши ушастые пуритане порядком потрепали наших друзей в южных графствах. И вот, прослышав, что вы здесь зашевелились, мы с Масгрейвом, не желая сидеть дома сложа руки, прибыли сюда, чтобы повоевать вместе с вашими молодцами в юбках и пледах.

— Надеюсь, вы захватили с собой оружие, людей и казну? — улыбаясь спросил Ментейт.

— Всего каких-нибудь десятка два солдат, которых мы оставили в последней деревушке предгорья, — отвечал Масгрейв. — Да и то, если бы вы знали, с каким трудом нам удалось притащить их туда!

— Что касается денег, — заметил другой англичанин, — то мы рассчитываем пополнить казну с помощью нашего друга и любезного хозяина.

При этих словах Мак-Олей весь покраснел и, отведя Ментейта в сторону, выразил ему свою досаду по поводу глупого положения, в которое попал по своей вине.

— Я уже слышал об этом от Доналда, — сказал лорд Ментейт, едва сдерживая улыбку.

— Черт бы побрал старика, — сказал Мак-Олей. — Он готов разболтать все, что угодно, хоть бы это стоило человеку жизни. Впрочем, и для вас, милорд, в этом ничего веселого нет, ибо я очень рассчитываю на ваше дружеское и братское расположение и надеюсь, что вы, как близкий родственник, поможете мне расплатиться с этими английскими пудингами. Иначе скажу вам напрямик, что вы на переключке недосчитаетесь Мак-Олея, ибо, будь я проклят, если не продамся просвитериянам скорее, нежели взгляну в глаза этим господам, не расплатившись с ними! Мне и так уж будет не сладко, ибо я и убыток потерплю и хвастуном перед всеми явлюсь.

— Вам, конечно, неизвестно, милорд, что и мои денежные дела не блестящи в настоящее время, — возразил граф Ментейт. — Но вы можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, во имя нашего старинного родства, соседства и дружбы.

— Благодарю вас!.. Очень, очень вас благодарю!.. — сказал Мак-Олей. — А поскольку эти деньги так или иначе пойдут на службу королю, то не все ли равно, кто их внесет — вы, они или я сам? Ведь все мы дети одного отца, не правда ли? Но вы должны еще помочь придумать какую-нибудь разумную отговорку; иначе мне придется обнажить шпагу, ибо я не потерплю, чтобы меня в моем собственном доме называли обманщиком и хвастуном, тогда как, видит бог, я только хотел поддержать честь своего рода и своей отчизны.

Во время их разговора в комнату вошел Доналд с таким сияющим лицом какого трудно было ожидать от него в ту минуту, когда столь печальная участь угрожала карману и достоинству его господина.

— Кушанье подано и свечи зажжены, — произнес старый слуга с особым ударением на последних словах.

— Черт побери, что он хочет сказать? — заметил Масгрейв, взглянув на своего соотечественника.

Лорд Ментейт вопросительно посмотрел на хозяина дома, но в ответ на его взгляд Мак-Олей только недоумевающе покачал головой.

В дверях произошла небольшая задержка, вызванная спором, кому пройти первому. Лорд Ментейт настоял на том, чтобы уступить гостям это право, при надлежало же ему в силу его высокого звания; он сослался на то, что он у себя на родине и к тому же свой человек в этом доме. Итак, оба английских гостя первыми вступили в зал, где глазам их представилось необычайное зрелище. Огромный дубовый стол был весь заставлен сытными мясными кушаньями, а вокруг него в надлежащем порядке были размещены стулья. За каждым стулом стоял слуга-горец, исполинского роста, в национальном костюме и в полном вооружении. Каждый горец держал в правой руке обнаженный меч острием вниз, а в левой — пылающий факел. Факелы были сделаны из особого вида сосны, произрастающей на болотах



Шотландии. Дерево это настолько смолисто, что, расщепленное и высушенное, оно отлично заменяло горцам свечи. Картина, открывшаяся взорам гостей, была поистине внушительная: пламя горящих факелов отбрасывало багровый свет на суровые лица горцев, на их необычную для постороннего глаза одежду и сверкающее оружие; густые клубы дыма поднимались под самые своды, образуя над залом как бы воздушный дымчатый шатер.

Прежде чем гости пришли в себя от изумления, Аллан выступил вперед и, не вынимая палаша из ножен, указал им на горцев с зажженными факелами.

— Взгляните, благородные гости, — сказал он торжественно, — каковы шандалы в доме моего брата, каков старинный обычай в нашем древнем роде; ни один из этих горцев не знает иного закона, кроме воли своего вождя! Так дерзнете ли вы, господа, сравнить этих людей с самым драгоценным металлом, извлекаемым из недр земли? Что вы на это скажете, господа? Выиграли вы заклад или проиграли?

— Програли, проиграли! — весело воскликнул Масгрейв. — Мои собственные серебряные шандалы уже давно расплавлены и обращены в новобранцев; хорошо, если они окажутся хотя бы вполовину надежнее этих. Извольте, сэр, — продолжал он, обращаясь к хозяину, — получайте ваши деньги; кошельки наши немного отощавут, но ничего не подделаешь — долг чести нужно платить!

— Да будет проклят отцом сын моего отца, — прервал его Аллан, — если он примет от вас хоть пенни! Достаточно того, что вы не притязаете на выигрыш!

Лорд Ментейт горячо поддержал Аллана, и старший Мак-Олей охотно присоединился к их мнению, заявив, что вся затея была сущим вздором, о котором не стоит больше говорить. Англичане из вежливости стали было спорить, но быстро согласилась обратить все дело в шутку.

— А теперь, Аллан, прошу тебя удалить твои светильники, — сказал хозяин дома. — Наши английские гости достаточно насмотрелись на них и предпочтут пообедать при свете старых оловянных подсвечников, не задыхаясь от дыма.

Тотчас же, по знаку Аллана, живые шандалы, вложив свои мечи в ножны и держа их концом вверх, один за другим вышли из зала, после чего хозяева и гости приступили к пиршеству.

## Глава 5

В нем было столько смелости

И страсти

И в гневе был он так неукротим,

Что сам отец, предчувствуя

Несчастье,

Просил, чтоб он бесстрашием своим

верей не трогал, досаждая им.

Но сын хотел, чтоб, укрощенный

Словом,

И лев на брюхе ползал перед ним

И тигр свирепый уходил бы с ревом,

Угрозу чуя в окрике суровом. Спенсер

В те времена чревоугодие англичан вошло в поговорку среди шотландцев, но за обедом в замке Дарнлинварах аппетит английских гостей никак не мог идти в сравнение с чудовищной прожорливостью Дальгетти, хотя сей доблестный воин уже успел проявить немалое упорство и решительность, когда бросился в атаку на легкую закуску, предложенную приезжим по их прибытии в замок. За обедом он не проронил ни слова; и лишь после того как почти все яства были убраны со стола, он соблаговолил объяснить своим сотрапезникам, не без удивления наблюдавшим за ним, какие причины побуждают его столь стремительно и основательно насыщаться.

— Привычку есть быстро, — сказал он, — я по необходимости приобрел за столом стипендиатов эбердинского духовного училища, ибо там, если не работать челюстями, как кастаньетами, очень легко остаться ни с чем. А что касается обилия поглощаемой мною пищи, — продолжал капитан, — то да будет вам, господа, известно, что долг каждого коменданта крепости — пополнять запасы всеми доступными ему средствами, заготавливая столько провианта и оружия, сколько могут вместить склады, — на тот случай, если придется выдерживать непредвиденную осаду. Согласно этому правилу, я полагаю, что если перед воином стоит вкусная и обильная снедь, то он поступит вполне разумно, насытившись дня на три вперед, ибо никто не знает, когда ему снова доведется пообедать.

Хозяин дома выразил свое одобрение подобной предусмотрительности и посоветовал капитану запить глотком бренди и бутылкой кларета поглощенные им мясо и дичь, на что тот охотно согласился.

После того как было убрано со стола и все слуги вышли — за исключением пажа, который остался в зале, чтобы в случае надобности принести что-нибудь или позвать кого-нибудь, — одним словом, исполняя обязанности современного колокольчика, — разговор перешел на политические темы и положение в стране; лорд Ментейт обстоятельно и подробно расспрашивал о том, какие именно кланы должны прибыть на предстоящий сбор сторонников короля.

— Все зависит от того, милорд, кто станет во главе, — отвечал Мак-Олей, ибо вам должно быть известно, что если несколько наших северных кланов соединятся, они не всегда склонны подчиняться одному из своих вождей, да и, по правде говоря, кому бы то ни было. Ходят слухи, будто Колкитто — младший Колкитто, иначе говоря — Аластер Мак-Доналд — переправится из Ирландии с отрядом людей графа Энтрима; они высадились в Кайле и дошли до Эрднамурхана. Им следовало уже быть здесь, но я предполагаю, что они задержались в пути, соблазнившись легкой поживой, и теперь занимаются грабежами.

— Может быть, Колкитто и будет вашим вождем? — спросил лорд Ментейт.

— Колкитто! — сказал Аллан Мак-Олей презрительно. — Кто говорит о Колкитто? На свете есть только один человек, за которым мы все пойдем, — это Монтроз.

— Но о Монтрозе нет ни слуху ни духу со времени нашей неудачной попытки поднять восстание на севере Англии, — возразил сэр Кристофер Холл. — Полагают, что он возвратился в Оксфорд, чтобы получить от короля новые указания.

— В Оксфорд? — заметил Аллан, презрительно усмехнувшись. — Я бы вам сказал, где он... Да не стоит: скоро сами узнаете.

— Знаешь, Аллан, — сказал лорд Ментейт, — этак ты выведешь из терпения всех друзей. Твоя мрачность становится просто невыносимой. Впрочем, мне понятна причина, — добавил он засмеявшись, — должно быть, ты сегодня еще не видел Эннот Лайл?

— Как ты сказал? Кого я не видел? — хмуро спросил Аллан.

— Эннот Лайл, волшебную фею пения и музыки, — отвечал граф.

— Бог свидетель, я рад бы никогда больше не видеть ее, — вздохнув, сказал Аллан, — лишь бы такой запрет был наложен и на тебя!

— Почему же именно на меня? — небрежно спросил Ментейт.

— А потому, — отвечал Аллан, — что у тебя на лбу написано, что вы погубите друг друга. — С этими словами он встал и покинул комнату.

— Давно это с ним? — спросил лорд Ментейт, обращаясь к старшему Мак-Олею.

— Третьи сутки, — отвечал Ангюс, — припадок уже кончается, завтра ему будет лучше. Однако, гости дорогие, не наполнить ли нам чарки? За здоровье короля! Да здравствует король Карл! И пусть подлый изменник, который откажется от этого тоста, сложит свою голову на плахе!

Тост был немедленно принят, за ним последовал второй, и третий, и четвертый — все в том же духе, предложенные столь же торжественно. Капитан Дальгетти, однако, счел нужным сделать оговорку.

— Милостивые государи, — сказал он, — я присоединяюсь к вашим заздравным тостам, *primo* — из уважения к этому почтенному и гостеприимному крову, и *secundo* — потому, что я *inter rosula* не считаю нужным быть особо щепетильным в вопросах политики; но предупреждаю, что, согласно предварительному уговору с его светлостью, я оставляю за собой право, невзирая на сегодняшние тосты, завтра же поступить на службу к пресвитерианам, буде мне так заблагорассудится.

Услышав такое неожиданное заявление, Мак-Олей и его английские гости с изумлением и гневом посмотрели на капитана; но лорд Ментейт быстро восстановил спокойствие, пояснив обстоятельства дела и условия уговора.

— Я надеюсь, — добавил он в заключение, — что нам удастся привлечь капитана Дальгетти на нашу сторону и заручиться его поддержкой.

— А если нет, — сказал хозяин дома, — то я, в свою очередь, предупреждаю: никакие обстоятельства, ни даже то, что он нынче ел мою хлеб-соль и пил со мной бренди, бордоское вино и шафранную настойку, не помешают мне расцеловать ему голову до самого шейного позвонка.

— Сделайте одолжение, — отвечал капитан, — если только мой меч не сумеет защитить мою голову, что ему уже не раз удавалось, и притом в таких случаях, когда мне угрожала большая опасность, нежели ваша вражда.

Тут лорду Ментейту снова пришлось вмешаться, и после того, как согласие было не без труда восстановлено, его скрепили обильными возлияниями.

Однако лорд Ментейт, сославшись на усталость и нездоровье, встал из-за стола раньше, чем

это было принято в замке, к немалому разочарованию храброго капитана, который, помимо всего прочего, пристрастился в Нидерландах к вину и приобрел способность поглощать невероятное количество крепких напитков.

Хозяин дома самолично проводил гостей в галерею, служившую спальней, где стояла большая кровать под клетчатым пологом; вдоль стены помещалось несколько ларей, или, вернее, длинных корзин; три из них были набиты свежим вереском и, видимо, предназначались в качестве постелей для гостей.

— Мне едва ли нужно объяснять вам, милорд, — сказал Мак-Олей, отведя Ментейта в сторону, — как у нас обычно устраивают ночлег для гостей. Но, скажу вам откровенно, мне не хотелось оставлять вас на ночь наедине с этим немецким бродягой, и я приказал приготовить постели вашим слугам подле вас. Чем черт не шутит, милорд! В наше время можно лечь спать целым и невредимым, со здоровой глоткой, способной пропустить любое количество бренди, а наутро оказаться с перерезанным горлом, зияющим, как вскрытая устрица.

Лорд Ментейт, сердечно поблагодарив хозяина за его заботы, сказал, что сам хотел просить о таком распорядке, ибо хотя он нимало не опасается насилия со стороны капитана Дальгетти, но все же всегда предпочитает иметь Андерсона поближе к себе, потому что это не простой слуга, а человек весьма достойный.

— Я прежде не видал у вас этого Андерсона, — заметил Мак-Олей. — Вы, вероятно, наняли его в Англии?

— Да, — отвечал лорд Ментейт. — Завтра вы его увидите, а пока желаю вам спокойной ночи.

Мак-Олей, попрощавшись с гостями, покинул галерею; он сделал было попытку пожелать спокойной ночи также и капитану Дальгетти, но, заметив, что внимание храброго воина всецело поглощено кувшином с поссетом, не стал прерывать столь похвальное занятие и удалился без дальнейших церемоний.

Почти тотчас же после его ухода явились слуги лорда Ментейта. Милейший капитан, несколько отяжелевший от выпитого вина и тщетно пытавшийся расстегнуть пряжки своего панциря, обратился к Андерсону со следующей речью, прерываемой частой икотой:

— Андерсон, дружище, ты, наверное, читал в священном писании: «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся...» Конечно, это непохоже на команду... Но суть дела в том, что мне придется спать в моих доспехах, как тем честным воинам, которые уснули навеки, если ты не поможешь мне расстегнуть вот эту пряжку.

— Помоги ему снять латы, Сибболд, — сказал Андерсон другому слуге.

— Клянусь святым Андреем! — в изумлении воскликнул капитан, круто повернувшись на каблуках. — Простой слуга, наймит, получающий четыре фунта в год и лакейскую ливрею, считает для себя унижительным услужить ритмейстеру Дугалду Дальгетти, владельцу Драмсуэкиста, изучавшему гуманитарные науки в эбердинском духовном училище и состоявшему на службе у монархов доброй половины европейских государств!

— Капитан Дальгетти, — сказал лорд Ментейт, которому, видно, суждено было в этот вечер играть роль миротворца, — прошу вас принять во внимание, что Андерсон никогда и никому не прислуживает, кроме меня; но я охотно сам помогу Сибболду расстегнуть ваш панцирь.

— Слишком много чести, милорд, — возразил Дальгетти, — хотя, быть может, вам и не мешало бы поучиться снимать и надевать военные доспехи. Я натягиваю и стягиваю свои, как перчатку; вот только нынче, хоть я и не ebrius, но, как говорили древние, vino ciboque gravatus.

Тем временем капитан уже был освобожден от своих доспехов и теперь, стоя перед очагом с выражением пьяного глубокомыслия на лице, предавался размышлениям о событиях минувшего вечера. Больше всего, по-видимому, его занимала личность Аллана Мак-Олея.

Так ловко суметь обойти этих англичан! Выставить вместо шести серебряных шандалов — восемь голоштаных горцев с горящими факелами! Да ведь это верх находчивости! Умнейшая выдумка, просто фокус!... А говорят, что он сумасшедший! Боюсь, милорд (капитан покачал головой), что хоть он вам и родня, а придется мне признать, что он в своем уме, и либо поколотить его хорошенько за насилие, совершенное над моей личностью, либо вызвать его на поединок, как подобает оскорбленному дворянину.

— Если вы согласны в столь позднее время выслушать длинный рассказ, — отвечал лорд Ментейт, — то я могу сообщить вам о некоторых обстоятельствах, которыми сопровождалось появление на свет Аллана Мак-Олея, и вы сами поймете, почему нельзя так строго судить его и требовать от него удовлетворения.

— Длинный рассказ на ночь глядя, милорд, — отозвался капитан Далуэти, — да чарочка вина и теплый ночной колпак — лучшее снотворное. А потому, если вашей светлости угодно взять на себя труд рассказывать, я буду иметь честь быть вашим терпеливым и признательным слушателем.

— Думаю, что и вам, Андерсон, и тебе, Сибболд, — обратился лорд Ментейт к своим слугам, — очень хочется услышать об этом странном человеке; и я полагаю, что лучше мне удовлетворить ваше любопытство, чтобы вы в случае надобности знали, как обращаться с ним. Подсаживайтесь-ка все поближе к огню.

Собрав вокруг себя слушателей, лорд Ментейт присел на край широкой кровати, а капитан Далуэти, вытерев капельки молочного напитка с усов и бороды и повторив несколько раз первый стих лютеранского псалма «Всякое дыхание да хвалит господу...» — улегся в одну из приготовленных постелей; высунув из-под одеяла взлохмаченную голову, он слушал рассказ молодого графа, находясь в блаженном состоянии полупьяной дремоты.

— Отец Ангюса и Аллана, — начал свой рассказ лорд Ментейт, — происходил из почтенного и древнего рода и был предводителем одного из северных кланов — немногочисленного, но стяжавшего добрую славу; его супруга, мать обоих братьев, была женщиной благородного происхождения, из хорошей семьи, если мне дозволено будет так говорить об особе, родственной мне по крови. Ее брат, смелый и достойный молодой человек, получил от короля Иакова Шестого звание лесничего и, наряду с другими привилегиями, право охоты на королевской земле, примыкавшей к его поместью. Пользуясь этим правом и защищая его, он имел несчастье навлечь на себя вражду одного из тех горных кланов, которые занимаются разбоем и о которых вы, капитан, вероятно, слышали.

— Как не слышать, — отвечал капитан, с трудом открывая слипающиеся глаза.

— Еще в бытность мою в эбердинском духовном училище Дугалд Гарр пошаливал в Гариохе, а Фаркерсоны — на берегах Ди, клан Чэттен — на землях Гордонов, а Гранты и Камероны — во владениях Морья. А после того понасмотрелся я на хорватов и пандуров в Паннонии и Трансильвании. Видел и казаков с польской границы. Видел я и всяких разбойников, бандитов и грабителей со всех концов света; так что имею кое-какое понятие о том, каковы ваши отчаянные горцы!

— Клан, с которым дядя Ангюса и Аллана с материнской стороны находился во вражде, — продолжал лорд Ментейт, — был просто шайкой бездомных разбойников, прозванные Сынами Тумана за их вечные скитания по горам и долам. Это жестокие и отчаянные люди, мстительные и неистовые в своих диких страстях, не знающие узды, налагаемой цивилизованным обществом. Несколько человек из этого клана подстерегли злополучного

лесничего в то время, как он охотился в горах без своих слуг, неожиданно напали на него и зверски убили, подвергнув бесчеловечным истязаниям. Затем разбойники отрубили лесничему голову и в порыве бесшабашного удализма решили подкинуть ее в замок зятя лесничего. Хозяина не было дома, и жене его поневоле пришлось принять непрошенных гостей, перед которыми она побоялась закрыть двери своего дома. Сынам Тумана было подано угощение, и они, уловив удобную минуту, вынули из пледа голову своей жертвы, поставили ее на стол и вложили в ее безжизненные уста кусок хлеба, предлагая откусить с того самого стола, за которым убитый не раз пировал. Хозяйка дома, покинув комнату, чтобы позаботиться об ужине, вошла в эту самую минуту и, увидя голову своего брата, стремглав бросилась в лес, испуская дикие вопли. Злодеи, удовлетворенные успехом своей жестокой выходки, удалились. Перепуганные слуги, едва придя в себя от охватившего их ужаса, кинулись во все стороны разыскивать свою несчастную госпожу, но она исчезла бесследно. Злополучный муж возвратился домой на другой день и с помощью своих людей предпринял более тщательные поиски как вблизи замка, так и в отдаленных окрестностях, но, увы, и эти поиски оказались тщетными. Все говорили, что, помешавшись от ужаса, бедная женщина, вероятно, бросилась с обрыва в реку или утонула в глубоком озере, расположенном на расстоянии мили от замка. Ее гибель вызвала всеобщую скорбь, тем более что она была на шестом месяце беременности; старшему ее сыну, Антюсу, было в ту пору полтора года. Однако я, кажется, утомил вас, капитан Далыетти, и вас как будто клонит ко сну?

— Нисколько, — отвечал воин, — я и не думал засыпать. Просто я лучше слышу с закрытыми глазами. Этому я научился, когда стоял на часах.

— Уж наверное, — шепнул лорд Ментейт Андерсону, — начальник караула не раз тыкал в него алебардой, чтобы заставить его открыть глаза!

Однако роль рассказчика, по-видимому, пришлась молодому графу по вкусу, и он продолжал свое повествование, обращая преимущественно к своим слугам и не уделяя больше никакого внимания задремавшему ветерану.

— Все окрестные бароны, — снова начал Ментейт, — поклялись отомстить за это страшное злодеяние. Объединившись с зятем убитого и другими его родственниками, они выследили Сынов Тумана и умертвили их с не меньшей жестокостью, чем те умертвили лесничего. Разделив между собой семнадцать отрубленных голов — трофеи кровавой расправы, — союзники выставили их на воротах своих замков, на съедение воронам; немногие уцелевшие Сыны Тумана перебрались в еще более безлюдные места, отступив в глубь страны.

— Направо равняйся, кругом шагом марш! Отступить на прежние позиции! — вдруг закричал капитан Далыетти.

Последние слова графа, видимо, пробудили в его дремлющем сознании слова привычной команды, но, тут же очнувшись, капитан стал уверять, что все время с глубочайшим вниманием следил за каждым словом рассказчика.

— Каждое лето, — продолжал лорд Ментейт, пропуская мимо ушей извинения капитана, — здесь угоняют коров на горные пастбища, на подножный корм; крестьянские девушки и служанки окрестных замков ходят туда доить коров утром и вечером. Однажды! служанки этого дома, к великому своему ужасу, заметили, что за ними издали наблюдает какая-то бледная, истощенная женщина; по облику она очень напоминала их покойную госпожу, и, конечно, они решили, что это ее дух. Те, кто похрабрее, все же решились приблизиться к этому бледному призраку, но женщина с диким криком бросилась от них прочь и исчезла в чаще леса. Уведомленный о случившемся, хозяин замка, захватив с собой людей, поспешил на поиски, и ему удалось преградить беглянке путь к отступлению в горы и задержать несчастную женщину; но — увы! — рассудок ее был безнадежно помрачен. Как она

существовала во время своих блужданий по лесу — осталось неизвестным; предполагают, что она питалась кореньями и дикими ягодами, которыми изобилуют наши леса в летнюю пору; но простой народ был убежден, что либо она питалась молоком диких ланей, либо она обязана своим спасением волшебству и что кормили ее, вероятно, лесные феи. Ее появление на пастбище объяснить было нетрудно. Из чащи леса она увидела, как доят коров', и так как наблюдение за молочным хозяйством всегда было ее любимым занятием, то привычка взяла свое, несмотря на душевный недуг.

В положенное время несчастная женщина произвела на свет мальчика, который, по-видимому, не только не пострадал от невзгод, перенесенных матерью, но был, по всем признакам, необыкновенно здоровым и крепким ребенком. Бедная мать после родов пришла в себя — к ней вернулся рассудок; но бывшая веселость и ясность духа были утрачены навсегда. Аллан был ее единственной отрадой. Она окружала его непрестанной заботой; нет сомнения в том, что многие суеверия и предрассудки, к которым тяготеет его угрюмая и страстная натура, были внушены ему в раннем детстве матерью. Она скончалась, когда ему шел десятый год. Последние ее слова были сказаны ему с глазу на глаз, но, бесспорно, она завещала ему отомстить Сынам Тумана за смерть дяди; и он свято хранит этот завет.

С того часа поведение Аллана круто изменилось. Прежде он не разлучался с матерью, слушал ее полубезумные речи, рассказывал ей свои сны, питая свое воображение, вероятно от природы расстроенное, столь обычными среди шотландских горцев дикими и жуткими суевериями, которым его мать особенно предавалась после злодейского убийства брата. Вследствие такого воспитания мальчик рос диким, нелюдимым. Часто уходил один в лесную чащу и больше всего на свете боялся общества сверстников. Помню, как однажды — хотя я несколькими годами моложе Аллана — отец привез меня сюда погостить; никогда не забуду того удивления, которое вызвал во мне этот маленький отшельник, отклонявший малейшую мою попытку втянуть его в игры, свойственные нашему возрасту. Помню, как его отец жаловался моему на угрюмый нрав Аллана, однако он говорил, что не считает себя вправе отнять у жены мальчика, лишить ее единственного утешения в жизни. К тому же забота о ребенке развлекала ее и, по-видимому, предотвращала возврат страшного недуга, поразившего несчастную женщину. И вот тотчас после смерти матери в характере и поведении мальчика произошла резкая перемена. Правда, он по-прежнему оставался угрюмым и задумчивым, по-прежнему случалось, что он часами не произносил ни одного слова и не обращал внимания на окружающих, — но теперь он иногда сам искал общества молодежи своего клана, которого раньше тщательно избегал. Он принимал участие во всех их забавах и играх и благодаря своей необыкновенной физической силе вскоре стал первенствовать во всех играх своего брата и прочих юношей, несмотря на то, что был моложе их. Те, кто прежде относился к нему с презрением, начали уважать его, хотя и недолюбливали. И если прежде Аллана считали изнеженным, мечтательным мальчиком, то теперь его соперники в играх и физических упражнениях жаловались, что, возбужденный борьбой, он подчас готов обратить эти игры в драку, вместо того чтобы видеть в них предмет дружеского состязания в силе. Однако я, кажется, обращаюсь к невнимательным ушам, — прервал свою речь лорд Ментейт, ибо мощный храп капитана Дальгетти не оставлял сомнений в том, что доблестный ветеран пребывает в объятиях Морфея.

— Если вы имеете в виду уши этой храпящей свиньи, милорд, — заметил Андерсон, — то они в самом деле глухи ко всему, что бы ни говорилось; но так как здесь не место для более серьезной беседы, то я надеюсь, что вы не откажете в любезности продолжить ваш рассказ для нас с Сибболдом. В судьбе бедного юноши таится глубокий и зловещий смысл.

— Так слушайте, — продолжал лорд Ментейт. — Физическая сила и дерзость Аллана с годами развилась еще более. В пятнадцать лет он уже не признавал ничьей власти, не терпел ни малейшего надзора, что глубоко тревожило его отца. Под предлогом охоты юноша дни и ночи пропадал в лесу, хотя далеко не всегда возвращался домой с дичью; старик был тем более обеспокоен, что некоторые из Сынов Тумана, пользуясь усиливающимся

брожением в стране, отважились вернуться в свои прежние логовища, а он считал небезопасным возобновлять враждебные действия против них. Мысль о том, что Аллан в своих скитаниях может подвергнуться нападению этих мстительных разбойников, служила постоянным источником тревоги для его отца.

Я сам был свидетелем трагической развязки, будучи в то время гостем этого замка. Аллан с рассветом ушел в лес; я тщетно пытался разыскать его там; наступила темная, ненастная ночь, а он все не возвращался домой. Отец его, чрезвычайно встревоженный, решил наутро послать людей на розыски сына; но вдруг, в то время как мы сидели за ужином, дверь отворилась и в зал уверенной поступью, гордо подняв голову, вошел Аллан. Старик, хорошо зная строптивый нрав и безрассудство сына, ничем не выразил своего недовольства, только заметил, что вот я на охоте убил крупного оленя и воротился домой засветло, а он, Аллан, пробыл в горах до полуночи и пришел, видимо, с пустыми руками.

— Так ли? — с гневом спросил Аллан. — Я сейчас докажу, что вы не правы.

Только тут мы заметили, что руки и лицо у него забрызганы кровью, и мы с нетерпением ждали его объяснений. Вдруг он отвернул полу своего пледа, выкатил на стол, видимо, только что отрубленную, окровавленную человеческую голову и крикнул: «Лежи здесь, где до тебя лежала голова более достойного мужа!»

По резким чертам, всклокоченным рыжим волосам и бороде, в которых пробивалась седина, отец Аллана и другие присутствующие сразу узнали голову Гектора — одного из самых известных предводителей Сынов Тумана, наводившего на всех ужас своей необычайной силой и свирепостью; он участвовал в убийстве злополучного лесничего, дяди Аллана, и только благодаря отчаянному сопротивлению и необыкновенному проворству ему удалось спастись от гибели, постигшей большинство его товарищей. Вы понимаете, что все мы онемели от изумления; но Аллан не пожелал удовлетворить наше любопытство, и мы могли только догадываться о том, что он, по всей вероятности, одолел разбойника лишь после ожесточенной борьбы, ибо вскоре обнаружилось, что сам он получил во время схватки несколько ран. После этого происшествия были приняты все меры, чтобы уберечь его от кровавой мести разбойников; но ни раны, ни строжайший запрет отца, ни засовы на дверях его комнаты и на воротах замка не могли помешать Аллану искать встречи с теми, кто больше всех жаждал его смерти. Он убежал из дому ночью через окно своей комнаты и, словно в насмешку над заботами отца, приносил то одну, то сразу две отрубленные головы Сынов Тумана. В конце концов даже этих людей обуял страх перед неистребимой ненавистью и безудержной отвагой, с какой Аллан приближался к их убежищам. Видя, что он, не задумываясь, вступает в борьбу, каково бы ни было превосходство противника, они пришли к убеждению, что на нем заговор и он находится под особым покровительством волшебных сил. «Ни ружье, ни кинжал, ни целый дурлах — ничто его не берет», — говорили они. Причина этой неуязвимости крылась, по общему мнению, в необычайных обстоятельствах, при которых он появился на свет. Дело дошло до того, что даже пятеро или шестеро отчаянных головорезов, заслышав охотничий клич Аллана или звук его рога, обращались в бегство.

Однако Сыны Тумана не унимались и по-прежнему разбойничали, нанося семейству Мак-Олеев, их родичам и друзьям громадный ущерб. Это вызвало необходимость нового похода против них, в котором и мне довелось принять участие; нам удалось застать их врасплох, закрыть одновременно все перевалы и ущелья занятой ими местности; и мы, как водится, жестоко расправились с ними, убивая и сжигая все на своем пути. В этих свирепых войнах между кланами редко щадят даже женщин и детей. Одна только маленькая девочка, с улыбкой глядевшая на занесенный над ней кинжал, по моей настоятельной просьбе избежала мщения Аллана. Мы привезли ее в замок, и здесь она выросла под именем Эннот Лайл; и, уж верно, милей этой девочки вы не нашли бы среди маленьких фей, пляшущих при лунном свете на вересковой лужайке. Аллан долгое время не выносил присутствия ребенка, пока в



его пылком воображении не зародилась уверенность, вызванная, вероятно, ее необычайной красотой, что она не связана кровным родством с ненавистным ему племенем, а была сама захвачена в плен во время одного из разбойничьих набегов; в таком предположении, в сущности, нет ничего невозможного, но Аллан верит в него, как в священное писание. Его особенно восхищает ее искусство в музыке; игра Эннот Лайл на арфе по своему совершенству превосходит исполнение лучших музыкантов страны. Вскоре все заметили, что игра Эннот оказывает благотворное влияние на помраченный рассудок Аллана и разгоняет его тоску, подобно тому как в древности музыка разгоняла тоску иудейского царя. У Эннот Лайл такой кроткий нрав, ее простодушная веселость столь восхитительна, что все в замке обращаются с ней скорее как с сестрой хозяина дома, нежели как с бедным приемышем, живущим здесь из милости. Поистине невозможно не плениться ею, видя ее искренность, живость и ласковую приветливость.

— Будьте осторожны, милорд! — заметил Андерсон улыбаясь. — Столь восторженные похвалы не доведут до добра. Аллан Мак-Олей, судя по вашему описанию, вряд ли окажется безопасным соперником.

— Пустяки! — сказал лорд Ментейт, рассмеявшись и в то же время, однако, сильно покраснев. — Аллану чужды волнения любви. Что касается меня, продолжал он серьезно, — темное происхождение Эннот не позволяет мне питать надежды на брак с нею, а беззащитность девушки ограждает ее от иных притязаний.

— Слова, достойные вас, милорд! — сказал Андерсон. — Но, надеюсь, вы доскажете нам вашу увлекательную повесть?

— Она почти окончена, — промолвил лорд Ментейт. — Мне осталось только добавить, что благодаря огромной силе и храбрости, решительному и неукротимому нраву и еще потому, что, по общему мнению, которое он сам всячески поддерживает, он пользуется покровительством сверхъестественных сил и может предсказывать будущее, — Аллан Мак-Олей окружен в клане гораздо большим почетом, нежели его старший брат. Ангюс, бесспорно, человек достойный и храбрый, но не выдерживает сравнения со своим необыкновенным младшим братом.

— Такая личность, — заметил Андерсон, — должна, несомненно, оказывать огромное влияние на умы наших горцев. Мы должны во что бы то ни стало заручиться содействием Аллана, милорд. С его отчаянной отвагой и даром предвидения.

— Тес, — шепнул лорд Ментейт, — сова просыпается.

— Я слышу, вы говорите о *deuteroscopia*, сиречь о ясновидении, — проговорил капитан. — Помню, блаженной памяти майор Мунро рассказывал мне, как волонтер в его роте, славный солдат Мардох Макензи, уроженец Ассинта, предсказал смерть Доналда Тафа из Лохэбера и нескольких других лиц, а также самого майора при внезапной атаке во время осады Штральзунда...

— Я часто слышал об этом даре, — заметил Андерсон, — но всегда считал тех, кто себе приписывает его, либо безумцами, либо просто обманщиками.

— Не могу причислить ни к тем, ни к другим своего родственника Аллана Мак-Олея, — возразил лорд Ментейт. — Он слишком часто проявляет проницательность и здравомыслие, в чем вы сегодня вечером имели случай убедиться, чтобы назвать его безумцем; а его высокое понятие о чести и его мужественный нрав, бесспорно, снимают с него обвинение в умышленном обмане.

— Итак, вы, ваша светлость, верите в его способность предрекать будущее? — спросил Андерсон.

— Отнюдь нет, — отвечал молодой граф. — Я полагаю, что просто он сам внушает себе, будто прорицания, которые в действительности лишь плод здравых наблюдений и раздумий, подсказаны ему «какими-то сверхъестественными силами, точно так же как религиозные фанатики принимают игру своего воображения за откровение свыше. Во всяком случае, если это объяснение не удовлетворяет вас, Андерсон, я ничего лучшего не могу придумать; да, кстати, после такого утомительного путешествия нам всем давно уже пора спать.

## Глава 6

Облик грядущего — тенью пред нами! Камбел

Утром гости, ночевавшие в замке, поднялись спозаранку, и лорд Ментейт, переговорив со своими слугами, обратился к капитану, который, усевшись в уголок, начищал свои доспехи крупным песком и замшей, мурлыча себе под нос песню, сложенную в честь непобедимого Густава Адольфа:

Пусть носятся ядра, гремит канонада, Вы смерти не бойтесь, вам слава — награда!

— Капитан Дальгетти, — сказал лорд Ментейт, — настало время, когда мы с вами должны либо распрощаться, либо стать товарищами по оружию.

— Надеюсь, однако, не раньше, чем мы позавтракаем? — спросил капитан Дальгетти.

— А я думал, что вы запаслись провиантом по крайней мере дня на три, — заметил граф.

— У меня еще осталось немного места для мяса и овсяных лепешек, — отвечал капитан, — а я никогда не упускаю случая пополнить свои запасы.

— Однако, — возразил лорд Ментейт, — ни один разумный полководец не потерпит, чтобы парламентарии или посланцы нейтральной стороны оставались в его лагере дольше, чем это позволяет осторожность; поэтому нам необходимо точно узнать ваши намерения, после чего мы либо отпустим вас с миром, либо будем приветствовать вас как своего соратника.

— Коли на то пошло, — сказал капитан!, — я не намерен оттягивать капитуляцию лицемерными переговорами (как это отлично проделал сэр Джеймс Рэмзи при осаде Ганнау в лето от рождества Христова тысяча шестьсот тридцать шестое) и откровенно признаюсь, что если ваше жалованье придется мне так же по душе, как ваш провиант и ваше общество, то я готов тотчас же присягнуть вашему знамени.

— Жалованье мы теперь можем назначить очень небольшое, — отвечал лорд Ментейт, — ибо выплачивается оно из общей казны, которая пополняется теми из нас, у кого есть кое-какие средства. Я не имею права обещать капитану Дальгетти больше полталера в сутки.

— К черту все половинки и четвертушки! — воскликнул капитан. — Будь на то моя воля, я не позволил бы делить пополам этот талер, так же как женщина на суде Соломона не позволила разрубить пополам свое собственное дитя.

— Это сравнение едва ли уместно, капитан Дальгетти, ибо я уверен, что вы скорее бы согласились разделить талер пополам, нежели отдать его целиком вашему сопернику. Впрочем, я могу обещать вам целый талер, с тем что задолженность будет покрыта по

окончании похода.

— Ох, уж эта задолженность! — заметил капитан Дальгетти. — Вечно обещают покрыть ее и никогда не держат слова. Что Испания, что Австрия, что Швеция — все поют одну и ту же песню! Вот уж дай бог здоровья голландцам: хоть они никуда не годные солдаты и офицеры, но зато платить — мастера! И, однако, милорд, если бы я мог удостовериться в том, что мое родовое поместье Драмсуэкиг попало в руки какого-нибудь негодяя из числа пресвитериан, которого в случае нашего успеха можно было бы признать изменником и отобрать у него землю, то я, пожалуй, согласился бы воевать заодно с вами, так сильно я дорожу этим плодородным и красивым уголком.

— Я могу ответить на вопрос капитана Дальгетти, — сказал Сибболд, второй слуга графа Ментейта, — ибо если его родовое поместье Драмсуэкиг не что иное, как пустынное болото, лежащее в пяти милях к югу от Эбердина, то я могу ему сообщить, что его недавно купил Элиас Стрэкен, отъявленный мятежник, сторонник парламента.

— Ах, он, лопухий пес! — воскликнул капитан Дальгетти в бешенстве. — Кто дал ему право покупать наследственное имение, принадлежавшее нашему роду в течение четырех столетий! *Synthius augem vellet*, как говорили у нас в духовном училище; это означает, что я за уши вытащу его из дома моего отца! Итак, милорд, отныне моя рука и мой меч принадлежат вам; я весь ваш, телом и душой, пока смерть нас не разлучит, — или до конца ближайшего похода: смотря по тому, что наступит раньше.

— А я, — сказал молодой граф, — скреплю наш договор, выдав вам жалованье за месяц вперед.

— Это даже лишнее, — заявил Дальгетти, торопясь, однако, припрятать деньги в карман. — А теперь я должен спуститься вниз, осмотреть свое боевое седло и амуницию, позаботиться, чтобы Густаву дали корму, и сообщить ему, что мы с ним снова поступаем на службу...

— Хорош наш новый союзник! — обратился лорд Ментейт к Андерсону, как только капитан вышел. — Боюсь, что нам от него будет мало чести.

— Зато он умеет воевать по-новому, — заметил Андерсон, — а без таких офицеров нам едва ли удастся достигнуть успеха в нашем предприятии.

— Сойдем-ка и мы вниз, — отвечал лорд Ментейт, — посмотрим, как идет сбор, ибо я слышу шум и суету в замке.

Когда они вошли в зал, где слуги почтительно стояли у стен, лорд Ментейт обменялся приветствием с хозяином и его английскими гостями; Аллан, сидевший у очага на той же скамье, что и накануне вечером, не обратил на вошедших ни малейшего внимания.

В это время старик Доналд поспешно вбежал в комнату:

— Посланный от Вих-Элистер Мора: он прибудет сегодня к вечеру.

— А много ли с ним людей? — спросил Мак-Олей.

— Двадцать пять — тридцать человек, — отвечал Доналд, — его обычная свита.

— Навали побольше соломы в большом сарае, — приказал хозяин.

Тут, спотыкаясь, вбежал в зал другой слуга и объявил о приближении сэра Гектора Мак-Лина, «прибывающего с большой свитой».

— Этих тоже в большой сарай, — распорядился Мак-Олей, — только в другом углу, а то они

того и гляди передерутся.

Снова появился Доналд; лицо старика выражало полную растерянность.

— Видно, народ взбесился, — заявил он. — Мне думается, все горцы поднялись с места. Эван Дху из Лохиеля будет здесь через час, а сколько с ним людей — один бог ведает.

— Отведи им помещение в солодовне, — сказал хозяин.

Слуги не успевали докладывать о прибытии все новых и новых вождей, из которых ни один не согласился бы пуститься в путь без свиты в шесть-семь человек. При каждом новом имени Антюс Мак-Олей отдавал приказание отвести помещение для вновь прибывающих: конюшни, сеновал, скотный двор, сараи — словом, все службы радушно предоставлялись на эту ночь в распоряжение гостей. Появление Мак-Дугала Лорна, приехавшего, когда все уже было занято, привело хозяина в немалое замешательстве.

— Что же, черт возьми, теперь делать, Доналд? — промолвил он. — В большом сарае, пожалуй, поместилось бы еще человек пятьдесят, если бы потеснее уложить их друг на дружку; но они пустят в ход ножи из-за того, кому где лежать, и к утру мы застанем в сарае кровавое месиво.

— О чем тут думать? — сказал Аллан, вскакивая и подходя к брату со свойственной ему стремительностью. — Разве у нынешних шотландцев тело слабее или кровь жиже, чем у их отцов? Выкати им бочку асквибо — вот им и ужин. Вереск будет им ложем, пледы — постелью, чистое небо — пологом. И если прибудет хоть тысяча горцев — всем хватит места на широком лугу!

— Аллан прав, — заметил его брат. — Странно, — добавил он, обращаясь к Масгрейву, — что Аллан, который, говоря между нами, не совсем в своем уме, часто оказывается разумнее всех нас вместе взятый! Понаблюдайте за ним. :

— Да, — продолжал Аллан, вперив мрачный взор в глубину зала, — пусть начнут с того, чем кончат. Многие из тех, что нынче уснут здесь на вереске, когда подуют осенние ветры, будут лежать на этом лугу, не чувствуя стужи и не сетуя на холодную постель.

— Не предсказывай, брат! — воскликнул Ангюс. — Ты накличешь беду.

— А чего же иного ты ждешь? — спросил Аллан, и вдруг глаза его закатились, судорога пробежала по всему телу, и он упал на руки Доналда и старшего брата, уже ожидавших припадка и потому успевших подхватить больного. Они усадили его на скамью и поддерживали под руки, пока он не пришел в себя и не попытался снова заговорить.

— Ради бога, Аллан, — обратился к нему брат, хорошо знавший, какое тяжелое впечатление могли произвести на гостей его пророчества, — не говори ничего, что могло бы лишить нас мужества!

— Я ли могу лишить вас мужества? — спросил Аллан. — Пусть каждый идет навстречу своей судьбе, как я иду навстречу своей. Чему быть, того не миновать. И много славных побед одержим мы на поле брани, прежде чем выйдем к месту последнего побоища или взойдем на черную плаху.

— Какое побоище? Какая плаха? — слышались голоса со всех сторон, ибо Аллан давно заслужил среди горцев славу ясновидца.

— Вы и так слишком скоро это узнаете, — отвечал Аллан. — А теперь оставьте меня. Я устал от ваших вопросов. — Он прижал руку ко лбу, оперся локтем о колено и погрузился в глубокое раздумье.

— Пошли за Эннот Лайл и вели принести арфу, — шепнул Ангюс своему слуге.

— А вас, господа, прошу пожаловать к столу; надеюсь, вы не побрезгуете нашим неприхотливым завтраком.

Все, кроме Ментейта, последовали за гостеприимным хозяином. Молодой граф остановился в глубокой амбразуре одного из окон.

Вскоре в комнату неслышно скользнула Эвнот Лайл; она вполне оправдывала слова лорда Ментейта, назвавшего ее самым воздушным, волшебным созданием, когда-либо ступавшим по зеленой лужайке в лучах лунного света. Она была мала ростом и потому казалась очень юной, и хотя ей уже шел восемнадцатый год, ее можно было принять за тринадцатилетнюю девочку. Ее прелестная головка, кисти рук и ступни так хорошо гармонировали с ее ростом и легким, воздушным станом, что сама царица фей Титания едва ли могла бы найти более достойное воплощение. Волосы у Эннот были несколько темнее того, что принято называть льняными, и густые кудри красиво обрамляли ее нежное лицо, выражавшее простодушную веселость. Если ко всему этому добавить, что девушка, несмотря на свою сиротскую долю, казалась самым жизнерадостным и счастливым существом на свете, читателю станет понятным то внимание, которым она была окружена. Эннот Лайл была всеобщей любимицей; она появлялась среди суровых обитателей замка, «словно луч солнца над мрачной морской пучиной», — как выразился о ней, пребывая в поэтическом настроении, сам Аллан, — вселяя в окружающих кроткую радость, которой было переполнено ее сердце.

Когда Эннот показалась на пороге, лорд Ментейт вышел из своего убежища и, подойдя к молодой девушке, приветливо пожелал ей доброго утра.

— Доброго утра и вам, милорд, — вспыхнув, отвечала она и с улыбкой протянула ему руку. — Нечасто мы видим вас в замке в последнее время. А сейчас, боюсь, вы приехали сюда не с мирными намерениями.

— Во всяком случае, Эннот, я не помешаю вам наслаждаться музыкой, — возразил лорд Ментейт, — хотя мое появление в замке, быть может, и внесет разлад. Бедняге Аллану сейчас нужны ваша игра и ваше пение.

— Мой избавитель, — сказала Эннот Лайл, — имеет право на мое скромное дарование так же как и вы, милорд, — вы ведь тоже мой избавитель: вы принимали самое горячее участие в спасении моей жизни, которая сама по себе не имела бы никакой цены, если бы я не могла быть хоть чем-нибудь полезной моим покровителям.

С этими словами она села на скамью, недалеко от Аллана Мак-Олея, и, настроив свою небольшую арфу — размером около тридцати дюймов, — запела, аккомпанируя себе. Она напевала старинную гэльскую мелодию, и слова этой песни, на том же языке, были очень древнего происхождения. Мы прилагаем ее здесь в переводе Секундуса Макферсона, эсквайра из Гленфоргена; и хотя перевод подчинен законам английского стихосложения, мы надеемся, что он не менее достоверен, чем перевод Оссиана, сделанный его знаменитым однофамильцем.

— Нам беду сулить готовы

Вороны, сычи и совы.

Спит больной. Летите прочь!

Крик ваш слушал он всю ночь.

Прочь в руины, в подземелья,  
В чащу зарослей, в ущелья -  
В царство мрака! Чу, с высот  
Жаворонок песню льет!  
Убегайте в топь, в леса,  
Волк-шатун, юла-лиса!  
Близок хлев, а в нем — ягнятки,  
Убегайте без оглядки,  
Не оставив и следа, -  
День идет, а с ним — беда.  
Слышите: вдали, у лога,  
Будят эхо звуки роса.  
Как призрак тает, все бледнея,  
Луна с рассветом. Злая фея,  
Фантом, пугающий в пути  
Скитальцев робких, прочь лети!  
Гаси свой факел, дух бесплотный,  
Он в топь ведет во тьме болотной.  
Ты отплясал, твой срок истек -  
Уже в лучах горит восток.  
Рой грешных мыслей, черных дум,  
Во сне гнетущих вялый ум,  
Отхлынь от спящего. Так тает  
Туман, когда заря блистает.  
И ты, злой дух, чей страшный вид  
Нам кровь и сердце леденит,  
Шпорь вороного! Убирайся  
И с ликом солнца не встречайся!

Во время пения Аллан Мак-Олей постепенно пришел в себя и начал сознавать, что происходит кругом. Глубокие морщины на лбу разгладились, и черты его, искаженные

душевной болью, стали спокойней. Когда он поднял голову и выпрямился, выражение его лица, оставаясь глубоко печальным, утратило, однако, прежнюю дикость и жестокость, и теперь Аллан казался мужественным, благородным и не лишенным привлекательности, хотя его отнюдь нельзя было назвать красивым. Густые темные брови уже не были угрожающе сдвинуты, а его серые глаза, перед тем исступленно сверкавшие зловещим огнем, смотрели теперь спокойно и твердо.

— Слава богу, — произнес он после минутного молчания, когда замерли последние звуки арфы. — Рассудок мой больше не затемнен... Туман, омрачавший мою душу, рассеялся...

— За эту счастливую перемену, брат Аллан, — сказал лорд Ментейт, подходя к нему, — ты должен благодарить не только господа бога, но и Эннот Лайл.

— Благородный брат мой Ментейт, — отвечал Аллан, вставая со скамьи и здороваясь с графом столь же почтительно, сколь и приветливо, — хорошо знает мой тяжкий недуг и по доброте своей не посетует на то, что я столь поздно приветствую его как гостя этого замка.

— Мы с тобой такие старые знакомые, Аллан, — сказал лорд Ментейт, — и к тому же такие добрые друзья, что всякие церемонии между нами излишни, но сегодня здесь соберется добрая половина всех горных кланов, а с их вождями, как тебе известно, необходимо соблюдать все правила учтивости. Как же ты отблагодаришь Эннот за то, что она сделала тебя способным принять Эвана Дху и еще невесть сколько гостей в шапках с перьями?

— Чем он отблагодарит меня? — сказала Эннот улыбаясь. — Да, уж надеюсь, не меньше, чем самой лучшей лентой с ярмарки в Дуне.

— С ярмарки в Дуне, Эннот? — печально повторил Аллан. — Много прольется крови, прежде чем наступит этот день, и, быть может, мне не суждено увидеть его. Но хорошо, что ты напомнила мне о том, что я Давно хотел сделать.

С этими словами он вышел из комнаты.

— Если он будет продолжать в том же духе, — заметил лорд Ментейт, — вам придется постоянно держать наготове вашу арфу, милая Эннот.

— Надеюсь, что нет, — грустно промолвила Эннот. — Этот припадок длился очень долго и, вероятно, не скоро повторится. Как ужасно видеть человека от природы великодушного и доброго и пораженного столь жестоким недугом!

Она говорила так тихо, что лорд Ментейт невольно подошел поближе и слегка наклонился к ней, чтобы лучше уловить смысл ее слов. При неожиданном появлении Аллана они так же невольно отшатнулись друг от друга с виноватым видом, словно застигнутые врасплох во время разговора, который они хотели бы сохранить в тайне от него. Это не ускользнуло от внимания Аллана; он резко остановился в дверях, лицо его исказилось, глаза грозно сверкнули; но это длилось лишь одно мгновение. Он провел по лицу своей широкой мускулистой рукой, точно желая стереть все следы гнева, и подошел к Эннот, держа в руке небольшой дубовый ларчик с причудливой инкрустацией.

— Будь свидетелем, лорд Ментейт, — сказал Аллан, — что я дарю Эннот Лайл этот ларец и все, что в нем хранится. Это немногие драгоценности, принадлежавшие моей покойной матери. Пусть вас не удивляет, что большой цены они не имеют, — жена шотландского горца редко владеет дорогими украшениями.

— Но это же фамильные драгоценности, — кротко и смущенно произнесла Эннот, отстраняя ларец. — Я не могу принять их.

— Они принадлежат лично мне, Эннот, — прервал ее Аллан. — Моя мать, умирая, завещала их мне. Это все, что я могу назвать своим, кроме пледа и палаша. Возьми эти безделушки, мне они не нужны, и сохрани их в память обо мне.., если мне не суждено вернуться с этой войны...

С этими словами он открыл ларец и подал его Эннот.

— Если эти вещи имеют хоть какую-нибудь ценность, — продолжал он, — располагай ими, они поддержат тебя, когда этот дом погибнет в огне и тебе негде будет приклонить голову. Но, прошу тебя, сохрани одно кольцо на память об Аллане, который за твою доброту отблагодарил тебя как мог, если и не сделал всего того, что бы желал.

Тщетно старалась Эннот Лайл удержать подступившие к глазам слезы в то время, как она говорила:

— Одно кольцо я приму от тебя, Аллан, как память о твоей доброте к безродной сиротке; но не заставляй меня брать ничего больше, ибо я и не хочу и не могу принять столь драгоценного подарка.

— Тогда выбирай, — сказал Аллан, — быть может, ты и права; остальное будет превращено в нечто более полезное для тебя же самой.

— И не думай об этом! — сказала Эннот, выбрав одно колечко, показавшееся ей самым малоценным из всех украшений. — Сохрани их для своей будущей невесты или для невесты твоего брата... Боже ной! — воскликнула она, глядя на кольцо. — Что это я выбрала?

Аллан бросил на кольцо быстрый взгляд, исполненный тревоги и страха: на эмалевом поле кольца был изображен череп над двумя скрещенными кинжалами. Увидев эту эмблему, Аллан так горестно вздохнул, что Эннот невольно выпустила кольцо из рук, и оно покатилося по полу. Лорд Ментейт поднял его и подал дрожавшей от страха Эннот.

— Бог свидетель, — торжественно произнес Аллан, — что твоя, а не моя рука поднесла ей этот зловещий подарок! Это траурное кольцо, которое моя мать носила в память о своем убитом брате.

— Я не боюсь дурных примет, — сказала Эннот, улыбаясь сквозь слезы, — и ничто, полученное из рук моих покровителей (так Эннот любила называть Аллана и лорда Ментейта), не может принести несчастья бедной сироте.

Она надела кольцо на палец и, перебирая струны арфы, запела веселую песенку, бывшую в то время в большой моде, — неизвестно какими судьбами эта песенка, отмеченная всеми признаками изысканной и вычурной поэзии эпохи Карла Первого, попала прямо с какого-нибудь придворного маскарада в дикие горы Пертшира:

Не в звездах вся судьба людей, Их жизни перемены, — Гляди, гадая, чародей, В глаза моей Елены.

Но не сули мне, звездочет, Измены и разлуки, Чтоб не изведать в свой черед Такой же горькой муки.

— Она права, Аллан, — сказал лорд Ментейт, — и конец этой песенки справедливо говорит о том, как тщетны все наши попытки заглянуть в будущее.

— Нет, она не права, — мрачно возразил Аллан, — хотя ты, столь легкомысленно отвергающий мои предостережения, может быть и не увидишь, как сбудется это знамение. Не смейся так презрительно, — продолжал он, — или, впрочем, смейся сколько тебе угодно, скоро твоему веселью будет положен предел!



— Твои пророчества меня не устроят, Аллан, — сказал лорд Ментейт. — Как бы коротка ни была отпущенная мне жизнь, нет того ясновидца, который мог бы увидеть ее конец.

— Замолчите, ради всего святого! — воскликнула Эннот, прерывая его. — Ведь вы же знаете его нрав и знаете, что он не терпит...

— Не бойся, Эннот, — сказал Аллан, перебивая ее. — Мысли мои ясны и душа спокойна. Что касается тебя, Ментейт, — продолжал он, обращаясь к графу, — то знай: мои взоры искали тебя на полях сражений, усеянных телами горцев из Верхней и Нижней Шотландии так густо, как густо усеяны грачами ветви этих вековых деревьев, — и он указал на рощу, видневшуюся за окном. — Мои взоры искали тебя, но твоего трупа там не было... Мои взоры искали тебя в рядах захваченных в плен и обезоруженных воинов, выстроенных во дворе старинной полуразрушенной крепости; залп за залпом..., вражеские пули сыпались на них..., взвод за взводом они падали, как сухие осенние листья..., но тебя не было среди них... Я видел, как воздвигают помосты и готовят плахи; видел землю, посыпанную опилками, священника с молитвенником и палача с топором, — но и здесь мои взоры не нашли тебя.

— Так, значит, мне судьбой предназначена виселица! — сказал лорд Ментейт.

— Однако я надеюсь, что меня избавят от петли, хотя бы из уважения к моему старинному роду.

Он произнес эти слова небрежным тоном, но в них сквозили любопытство и тайная надежда получить ответ; ибо желание заглянуть в будущее нередко овладевает даже теми, кто отказывается верить в самую возможность подобных пророчеств.

— Твое знатное имя не понесет бесчестья ни от тебя, ни от своей смерти. Трижды видел я, как горец наносит тебе удар кинжалом в грудь, — такова участь, уготованная тебе судьбой.

— Скажи мне, каков этот горец, — сказал лорд Ментейт, — и я избавлю его от труда выполнять твое пророчество, если только плед его не окажется непроницаемым для пули или для острия меча.

— Оружие едва ли спасет тебя, — отвечал Аллан, — и я не могу удовлетворить твое желание: видение упорно отворачивало от меня свое лицо.

— Да будет так, — сказал лорд Ментейт. — И пусть оно останется в тумане, которым окутано твое предсказание. Это не мешает мне весело пообедать среди ваших пледов, кинжалов и юбок.

— Может быть, оно и так, — отвечал Аллан, — и, может быть, ты прав, что наслаждаешься минутами, которые для меня отравлены предчувствием грядущих бед. Но запомни, — продолжал он, — вот это оружие, то есть такое оружие, как это, — Аллан дотронулся до рукоятки своего кинжала, — решит твою участь.

— А пока что, — заметил лорд Ментейт, — ты, Аллан, до того перепугал Эннот Лайл, что вся кровь отхлынула у нее от лица. Оставим же этот разговор, мой друг, и обратимся к тому, что мы оба понимаем одинаково хорошо, — пойдём посмотрим, как идут наши военные приготовления.

Они присоединились к обществу Ангюса Мак-Олея и его английских гостей, и в тотчас же начавшемся обсуждении военных планов Аллан проявил ясность ума, трезвость и точность мышления, казалось бы совершенно несовместимые с теми мистическими настроениями, во власти которых он только что находился.

Лишь Альбин во гневе палаш

Обнажит -

Строй неколебимых ее окружит

Морея и Раналда смелые кланы -

Шотландские пледы, береты,

Тартаны... «Предостережение Лохиеля»

Замок Дарнлинварах, где в это утро царило особое оживление, представлял собой поистине блестящее зрелище.

Предводители различных кланов, как полагалось в торжественных случаях, появлялись в сопровождении многочисленной свиты и отрядов телохранителей; они приветствовали владельца замка, а также друг друга, выказывая при этом либо чрезвычайную радость, либо высокомерие и холодную вежливость, в зависимости от того, в дружеских или враждебных отношениях находились в последнее время их кланы. Каждый предводитель, как бы мало ни было значение его клана, явно считал себя вправе ожидать от остальных проявления тех знаков почтения, которые подобали самостоятельному и независимому суверену; с другой стороны, сильные и могущественные вожди, не ладившие между собой по причине недавних распрей или исконной вражды, улещали своих маломощных собратьев, дабы на всякий случай заручиться их помощью и поддержкой. Поэтому сбор предводителей кланов в замке Дарнлинварах весьма напоминал древние ландтаги священной империи, где самый захудалый барон, все владения которого ограничивались замком, торчащим на голой скале, и сотней-другой акров земли вокруг, притязал на ранг суверенного государя и на соответствующее этому рангу место среди высших сановников страны.

Свита каждого предводителя клана располагалась обычно отдельно от него, в отведенном для нее помещении, однако вождь оставлял при себе своего пажа, который прислуживал ему, следуя за ним как тень и исполняя малейшее требование своего повелителя.

Во дворе замка можно было наблюдать довольно своеобразную картину. Горцы, съехавшиеся со всех концов Верхней Шотландии, с островов, из горных ущелий и долин, поглядывали друг на друга издали, кто с любопытством, кто с затаенным чувством зависти, а кто и с явным недоброжелательством. Но самым поразительным явлением на этом сборище, по крайней мере для непривычного слуха южанина, было состязание волынщиков. Каждый из этих воинственных менестрелей был глубоко убежден в превосходстве своего клана и чрезвычайно гордился своим искусством; сначала они играли бравурные пиброхи, стоя впереди своих отрядов. Но затем, наподобие тетеревов, которые, как говорят охотники, к концу лета токуют, то есть собираются стаями, привлеченные ликующим клекотом своих собратьев. — все волынщики, распустив свои пледы и клетчатые юбочки так же победоносно, как птицы распускают свои хвосты, начинали понемногу приближаться друг к другу на такое расстояние, чтобы дать возможность соперникам оценить их игру.

Гордо и вызывающе глядя друг на друга, они изо всех сил дули в свои визгливые инструменты и извлекали из них такие пронзительные звуки (причем каждый наигрывал свой излюбленный мотив), что если бы какой-нибудь музыкант-итальянец был похоронен даже за

десять миль от этих мест, он, наверное, восстал бы из гроба, чтобы убежать подальше.

Между тем в большом зале замка происходило тайное совещание всех предводителей кланов. Среди них были люди весьма знатные и влиятельные; многих привлекла сюда искренняя преданность королю, других — ненависть к жестокому и могущественному Аргайлу, который занимал первенствующее положение в стране и все сильнее притеснял своих менее удачливых соседей. И в самом деле, маркиз, человек весьма одаренный, располагавший большой властью, имел, однако, столь существенные недостатки, что оттолкнул от себя большинство предводителей горных кланов. Благочестие его носило характер мрачный и фанатичный; честолюбие не знало пределов; и многие из подчиненных ему вождей жаловались на его мелочность и скупость. Добавим к этому, что, хотя он был уроженцем гор, из старинного рода, до и после него прославившегося своей доблестью, Джилспай Грумах (этим прозвищем он обязан был своему косоглазию, и так его и величали на севере, где не знают ни титулов, ни званий) слыл скорее тонким политиком, нежели храбрым воином. Он и его род были особенно ненавистны Мак-Доналдам и Мак-Линам, двум многочисленным кланам, которые, хоть и враждовали исстари между собой, объединились в общей ненависти к Кэмбелам, или — как их все называли — к Сынам Диармида.

Собравшиеся вожди некоторое время безмолвствовали, ожидая, чтобы кто-нибудь начал первым. Наконец один из самых могущественных Предводителей заговорил:

— Мы были приглашены сюда, Мак-Олей, для совещания по важным вопросам, касающимся короля и государства; и мы желаем знать, кто возьмет на себя обязанность изложить собранию суть дела.

Мак-Олей, не отличавшийся красноречием, высказал пожелание, чтобы эту обязанность взял на себя лорд Ментейт. Скромно, но вместе с тем с большим воодушевлением, молодой лорд начал свою речь, сказав, что он предпочел бы, чтобы предложения, которые он намерен внести, исходили от лица более известного и почтенного, нежели он. Но если уж на, его долю выпала эта честь, он должен сообщить собранию, что те, кто желает сбросить с себя постыдное ярмо, которое слепой фанатизм стремится надеть им на шею, не должны терять ни минуты.

— Сторонники ковенанта, — продолжал он, — уже дважды вооружались против своего монарха и вынудили его удовлетворить все их требования, как разумные так и неразумные. И после того как их военачальники были осыпаны наградами и почестями, после того как, вслед за милостивым посещением его величеством своего родного края перед отбытием в Англию, было всенародно провозглашено, что «довольный король возвращается от довольного народа», — после всего этого, без какой-либо уважительной причины, а лишь из-за догадок и подозрений, столь же оскорбительных для короля, сколь неосновательных по существу, эти же самые люди выслали сильную армию на помощь мятежному английскому парламенту, хотя эти междоусобные распри так же мало касаются шотландцев, как войны в Германии. И хорошо еще, — продолжал лорд Ментейт, — что поспешность, с которой они совершили это предательство, помешала узурпаторам, захватившим в свои руки управление Шотландией, разглядеть опасность, которой они тем самым подвергали самих себя. Армия, посланная в Англию под начальством Ливена, состоит из старых, испытанных ветеранов; это цвет того войска, которое было набрано в Шотландии во время двух последних войн...

Тут капитан Дальгетти попытался было встать, чтобы разъяснить присутствующим, какое количество опытных офицеров, искушенных в германских войнах, должно было, по его точным сведениям, находиться в войсках графа Ливена. Но Аллан Мак-Олей одной рукой удержал его на месте, приложив, в знак молчания, указательный палец другой руки к своим губам, и, хоть не без труда, но предотвратил вмешательство бравого воина. Капитан Дальгетти бросил на своего соседа негодующий и полный презрения взгляд, впрочем нисколько того не смутивший, и лорд Ментейт беспрепятственно продолжал свою речь.

— Настал час, — сказал он, — наиболее благоприятный для того, чтобы каждый честный, преданный королю шотландец мог доказать, что в этой измене повинна только горсточка «своекорыстных и честолюбивых мятежников, а также слепой фанатизм, проповедуемый с пятисот церковных кафедр и бурным потоком разлившийся по всей Нижней Шотландии.

Лорд Ментейт сообщил также, что он получил письма с севера, от маркиза Хантли, которые он охотно покажет каждому из присутствующих вождей. Этот вельможа, столь же преданный королю, сколь могущественный, готов оказать самое горячее содействие общему делу, и к нему готов присоединиться могущественный граф Сифорт. Подобные же заверения пришли от графа Эйрли и от клана Огилви из Ангюсшира; нет сомнения в том, что все они, вместе с кланами Хэйсов, Лейтов, Барветов и прочими преданными королю дворянами, сядут на коней, и силы их будут более чем достаточны для устрашения северных мятежников, которые уже не раз имели случай испытать на себе их доблесть в прошлых битвах.

— К югу от залива Форт и реки Тэй, — продолжал Ментейт, — у короля немало приверженцев; недовольные вынужденной присягой, принудительным рекрутским набором, непосильными налогами, несправедливо назначаемыми и неравномерно взимаемыми, изнемогая под гнетом деспотического управления парламента и инквизиторской власти пресвитерианских священнослужителей, они только и ждут, когда взовьется королевское знамя, чтобы взяться за оружие. Дуглас, Трекуэр, Роксбург, Юм — все они преданы делу короля и сумеют оказать противодействие влиянию пресвитериан на юге; а присутствующие среди нас двое знатных и почтенных англичан могут поручиться за поддержку графств Камберленд, Уэстморленд и Нортумберленд. Против столь многочисленного и доблестного войска южные ковенантеры могут выставить лишь неотесанных новобранцев: пастухов западных графств да пахарей и ремесленников с юга. Что касается западных гор, то там парламент не имеет приверженцев, за исключением одного человека, хорошо всем известного и одинаково всем ненавистного. Но кто же из присутствующих, при виде доблести, могущества и знатности собравшихся здесь вождей, хотя на миг усомнится в том, что они могут победить любое войско, которое выставит против них Джилспай Грумах?

В заключение лорд Ментейт сообщил, что армия обеспечена крупными денежными средствами и вооружением (при этих словах Дальгетти наострил уши; что для обучения солдат, которым понадобится преподавать военное ремесло, приглашены опытные военачальники, один из которых находится в данное время среди присутствующих (тут капитан Дальгетти приосанился и обвел взглядом собрание); что многочисленный отряд вспомогательных войск из Ирландии, снаряженный графом Энтримом в Улстере, благополучно высадился на шотландском берегу, с помощью войска Раналда захватил и укрепил замок Мингарри, и, несмотря на попытку Аргайла преградить ему путь, ускоренным маршем направляется сюда.

— Теперь остается только одно, — сказал Ментейт, — чтобы собравшиеся здесь благородные вожди, отбросив все мелочные побуждения, объединились ради общего дела. Разошлите огненные кресты по своим кланам, соберите все свои силы, не теряя ни минуты, не давая неприятелю ни подготовиться, ни опомниться от страха, который охватит его при первых звуках ваших волюнок. Я сам, хоть и не могу причислить себя к наиболее богатым и могущественным дворянам Шотландии, чувствую себя обязанным отстаивать честь своего древнего и благородного рода, сражаясь за независимость древней и благородной нации, и готов пожертвовать жизнью и всем своим достоянием ради этого великого дела. И если те, кто могущественнее меня, проявят не меньшую преданность нашему делу, то я не сомневаюсь в том, что они заслужат благодарность своего короля и признательность потомства.

Громкие крики одобрения раздались в ответ на речь лорда Ментейта; это свидетельствовало о том, что все присутствующие разделяют высказанные им чувства; однако, когда шум утих, собравшиеся продолжали переглядываться, как будто еще что-то оставалось недосказанным.

Пошептавшись с соседями, с ответным словом выступил убеленный сединами старик, преклонный возраст которого давал ему право на всеобщее уважение, хоть он и не принадлежал к могущественным предводителям кланов.

— Тан ментейтский! — заговорил он. — Ты хорошо сказал, и нет среди нас ни одного, в чьей груди не горели бы те же чувства. Но не только сила побеждает в сражении; ум полководца, не менее чем рука воина, ведет к победе. Я спрашиваю тебя: кто же поднимет и будет держать знамя, вокруг которого ты призываешь нас объединиться? Уж не думаешь ли ты, что мы пошлем воевать наших сыновей и лучших людей из наших кланов, не зная заранее, кому мы вверяем их жизнь? Неужели мы пошлем на убой тех, кого, по законам божеским и человеческим, мы призваны охранять? Где королевский указ, в силу которого его вассалы призываются к оружию? Какими бы простаками и невеждами нас ни считали, мы все же имеем понятие о правилах ведения войны, а также о законах нашей отчизны; и мы не намерены нарушать мир в Шотландии иначе, как по особому повелению короля и под предводительством военачальника, достойного вести в бой таких людей, какие ныне собрались здесь.

— Где вы найдете такого вождя, — сказал предводитель другого клана, вставая с места, — если не обратитесь к человеку, облеченному властью самим монархом, владеющему по своему рождению наследственным правом предводительствовать войском любого клана Верхней Шотландии? И кто этот вождь, как не отпрыск славного рода Вих-Элистер Мора?

— Я признаю, что нам нужен достойный предводитель, — резко прервал его другой вождь, — но не согласен с таким выводом. Если Вих-Элистер Мор желает, чтобы его считали наместником короля, пусть докажет, что его кровь краснее моей!

Лорд Ментейт бросился между ними, уговаривая и заклиная их помнить о том, что интересы Шотландии, ее свобода и дело короля — важнее личных ссор из-за превосходства по рождению, власти и могуществу. Многие из присутствующих, не желающие признавать главенства ни того, ни другого из спорящих, поддержали Ментейта, и решительнее всех высказался прославленный Эван Дху.

— Я прибыл со своих озер, — сказал он, — как поток устремляется по горному склону, не для того, чтобы повернуть вспять, а для того, чтобы выполнить свое назначение. Не тем послужим мы отчизне и королю Карлу, что будем оглядываться на свои старые споры. Я подам свой голос за того военачальника, которого назначит сам король и который, без сомнения, будет обладать всеми достоинствами, необходимыми для предводительства людьми, подобными нам. Он должен быть знатного рода, дабы мы не унизили себя, повинувшись ему; мудрым и опытным, дабы уберечь от опасности наших людей; храбрейшим из храбрых, дабы не пострадала наша честь; хладнокровным, твердым и решительным, дабы удержать нас в тесном союзе. Таков должен быть человек, который станет нашим главой. Готов ли ты, тан ментейтский, сказать нам, где найти такого вождя?

— Есть только один такой вождь, — произнес Аллан Мак-Олей. — Вот он, — добавил он, кладя руку на плечо Андерсона, стоявшего позади Ментейта, — здесь, перед нами!

В ответ на это среди присутствующих поднялся недоуменный и негодующий ропот, но Андерсон, откинув капюшон, закрывавший ему лицо, выступил вперед и сказал:

— Я не имел намерения слишком долго оставаться немым свидетелем этого военного совета, однако нетерпение моего друга заставило меня открыться несколько раньше, чем я предполагал. Достоин ли я высокого звания, возлагаемого на меня этой грамотой, и сумею ли я оправдать доверие короля, — покажет будущее. Вот приказ, скрепленный большой государственной печатью, на имя Джеймса Грэма, графа Монтроза, принять начальство над всеми войсками, которые будут призваны на службу его величества в шотландском

королевстве.

Единодушный крик одобрения огласил зал. И в самом деле, никому иному, кроме Монтроза, не согласились бы подчиниться кичливые горцы. Старинная наследственная вражда его рода и рода маркиза Аргайла служила порукой тому, что он поведет войну решительно, а его слава блестящего и бесстрашного полководца вселяла надежду на благоприятный исход кампании.

## Глава 8

Наш замысел таков, что лучше не придумаешь

Друзья у нас верные и преданные.

Славный замысел, славные друзья, можно надеяться на успех

Превосходный замысел, очень хорошие друзья «Генрих IV», ч. I

Не успели смолкнуть возгласы радостного удивления, как со всех сторон раздались голоса, требовавшие тишины для оглашения королевского указа; и тотчас же, из уважения к высочайшему рескрипту, все обнажили головы, а до этой минуты собравшиеся сидели в шапках, — вероятно, потому, что никто не хотел первым оказать другому эту честь. Указ, весьма пространный и подробный, уполномочивал графа Монтроза призвать к оружию подданных его величества для усмирения мятежа, который подняли некоторые предатели и смутьянь» против своего короля, тем самым изменив долгу верности и нарушив мир между обоими королевствами. Всем местным властям предписывалось повиноваться Монтрозу и оказывать помощь в его предприятии; сам граф получал право издавать приказы и постановления, карать провинившихся, миловать преступников, назначать и сменять правителей и военачальников. Словом, это была грамота, облакавшая Монтроза самой полной властью, какой монарх может наделить своего подданного.

Как только Монтроз закончил чтение, собравшиеся вожди одобрительными возгласами подтвердили свою готовность подчиниться воле короля. Монтроз не только выразил собранию свою признательность за столь лестный прием, — он поспешил поблагодарить каждого из присутствующих в отдельности. Все самые влиятельные предводители кланов были с давних пор знакомы ему лично, но он обратился даже к наименее знатным, обнаружив при этом отличное знание их прозвищ и знакомство с прошлым и настоящим каждого клана, что показывало, как тщательно он изучал нравы и обычаи горцев и как давно готовился к той высокой должности, которую теперь занял.

Сейчас, когда граф Монтроз расхаживал по залу, подходя по очереди к каждому из присутствующих, особенно резко бросалось в глаза несоответствие между его изящными манерами, выразительными чертами лица, благородной осанкой — и грубой простотой его одежды. Как это часто бывает, лицо Монтроза было одним из тех лиц, которые ничем не поражают с первого взгляда, но становятся тем привлекательней, чем дольше в них всматриваешься. Он был немного выше среднего роста, но превосходно сложен, обладал большой физической силой и редкой выносливостью. Здоровье у него было поистине железное, и это помогало ему переносить тяготы труднейших кампаний, во время которых он, словно простой солдат, подвергал себя всем опасностям и лишениям походной жизни. Ловкий, искусный в военных упражнениях и в мирных играх, он держался с той непринужденной грацией, которая свойственна людям, привыкшим приспосабливаться к

любому положению.

Его длинные каштановые волосы по обычаю, принятому среди знатных роялистов того времени, были расчесаны на прямой пробор и падали вдоль щек локонами, причем один завиток, на два или три дюйма длиннее остальных, спускался на лоб, указывая на то, что Монтроз следовал моде, против которой мистер Принц, как истый пуританин, почел Своим долгом написать целый трактат под названием «Непривлекательность локонов, долженствующих привлекать любовь». Лицо Монтроза было из тех, обаяние которых заключено не в правильности линий, а в своеобразии всего облика. Орлиный нос, большие пронизательные серые глаза и здоровый румянец искупали некоторую тяжеловатость и не правильность нижней части лица, и поэтому наружность Монтроза была не лишена приятности. Но все, кому довелось видеть его в минуты, когда его взор светился вдохновением, кто слышал его пламенную речь, — восхищались его красотой, хотя, судя по сохранившимся до сего времени портретам, это было некоторым преувеличением. Во всяком случае, именно такое впечатление он произвел на собрание горных вождей, а, как известно, на вершине общественной лестницы всегда придается весьма большое значение внешности.

Объявив свои полномочия, Монтроз в дальнейшей беседе рассказал присутствующим, каким опасностям ин подвергался, выполняя возложенное на него дело. Вначале он предполагал собрать отряд приверженцев короля на севере Англии, откуда они должны были, исполняя приказ маркиза Ньюкаслского, выступить в Шотландию. Однако нежелание англичан перейти границу и промедление графа Энтрима, который должен был высадиться со своим ирландским войском в заливе Солуэй, помешали Монтрозу выполнить это намерение. Другие его планы тоже потерпели крушение, и ему пришлось скрываться под чужим именем, дабы благополучно пробраться через Нижнюю Шотландию, в чем ему оказал любезное содействие его родственник, граф Ментейт. Каким образом Аллан Мак-Олей сумел узнать его, он не пытался объяснить. Те, кто верил в пророческий дар Аллана, таинственно улыбались; но сам Аллан ответил только, что «граф Монтроз не должен удивляться тому, что его знают тысячи людей, которых он, конечно, не всегда может помнить».

— Клянусь своей воинской честью, — воскликнул капитан Дальгетти, улучив наконец минутку, чтобы вставить слово, — я почитаю за счастье и горжусь тем, что случай привел меня обнажить меч под начальством вашей светлости; и я готов забыть весь свой гнев, и досаду, и злобу против мистера Аллана Мак-Олея и великодушно простить ему, что он вчера оттащил меня на нижний конец стола. Правда, сегодня он говорил как человек, находящийся в здравом уме, так что я в глубине души пришел к убеждению, что он не имеет никакого права пользоваться преимуществом невменяемого. Но так как я перенес унижение ради благородного графа, моего будущего военачальника, я заявляю при всех, что признаю всю справедливость оказанного ему предпочтения и сердечно приветствую Аллана, как своего будущего *bon-samarado*.

Произнеся эту речь, которой многие не поняли, а другие не слушали, капитан Дальгетти, не снимая рукавицы, схватил Аллана за руку и крепко потряс ее; Аллан ответил на это рукопожатие, сжав, словно тисками, руку капитана с такой силой, что железные чешуйки рукавицы впились тому в тело.

Капитан Дальгетти мог бы, пожалуй, усмотреть в этом новое оскорбление, если бы в то время, как он встряхивал пораненную руку и дул на нее, его внезапно не позвал сам граф Монтроз.

— Да будет вам известно, капитан Дальгетти..., или, лучше сказать, майор Дальгетти... — проговорил он, — что ирландцы, которым предстоит перенять у вас ваш военный опыт, находятся сейчас всего в нескольких милях от нас.

— Наши охотники, — сказал Ангюс Мак-Олей, — посланные за дичью для дорогих гостей,

слышали о появлении в наших краях отряда иноземцев, которые будто бы не говорят ни по-английски, ни на чисто гэльском наречии и с трудом объясняются с нашим населением; они идут в боевом порядке, при оружии и, как слышно, под предводительством Элистера Мак-Доналда, более известного под кличкой Колкитто-младший.

— Это, несомненно, наш отряд! — отозвался Монтроз. — Надо немедленно выслать им навстречу гонцов, чтобы их проводили сюда и помогли им.

— Последнее будет нелегко сделать, — заметил Ангюс Мак-Олей, — ибо до меня дошли сведения, что они, кроме мушкетов и небольшого количества боевых припасов, нуждаются решительно во всем: у них нет ни денег, ни обуви, ни одежды.

— Нет никакой надобности заявлять об этом столь громогласно, — сказал Монтроз. — Как только мы достигнем Глазго, мы позаботимся о том, чтобы тамошние ткачи-пуритане не замедлили снабдить их достаточным количеством тонкого сукна. А если в свое время пасторам удалось своими проповедями выманить у шотландских старух их запасы домотканого полотна, из которого повстанцы понаделали палаток в лагере при Данзлоу, то надеюсь, что и я сумею повлиять на них и заставить этих святош повторить свой патриотический дар, а их мужей — этих лопоухих мошенников — порастрясти свои кошельки!

— Что касается оружия, — начал капитан Дальгетти, — если ваша светлость позволит старому воину высказать свое мнение, я полагаю, что лишь одна треть войска должна быть вооружена мушкетами; для остальных я отдал бы предпочтение моему любимому оружию — пике: она пригодна как при сопротивлении конной атаке, так и при наступлении на пехоту. Простой кузнец может выковать сотню наконечников в день, а в лесу достаточно деревьев для древков. Я утверждаю, что, согласно всем правилам ведения войны, батальон, вооруженный пиками, построенный по образцу батальонов великого Северного Льва, бессмертного Густава Адольфа, способен победить даже македонскую фалангу, о которой мне приходилось читать в духовном училище, когда я еще пребывал в древнем городе Эбердине. Далее, осмелюсь заранее предсказать...

Тут тактические выкладки капитана были внезапно прерваны Алланом Мак-Олеем, который торопливо произнес:

— Место нежданному и нежеланному гостю!

В ту же минуту двери зала распахнулись, и взорам собравшихся предстал убеленный сединами старик весьма почтенного вида; в его фигуре чувствовалась величавость и даже властность. Его гордая осанка, весь его облик выдавали человека, привыкшего повелевать. Войдя, он окинул строгим, почти грозным взглядом собравшихся вождей. Наиболее могущественные и знатные из них ответили на этот взгляд презрительным равнодушием, но некоторые дворяне помельче, из западных округов, несомненно, готовы были провалиться сквозь землю.

— К кому из вас я должен обратиться как к предводителю? — спросил старик.

— Или вы еще не успели избрать то лицо, которое должно занимать этот пост, столь же опасный, сколь почетный?

— Обращайтесь ко мне, сэр Дункан Кэмбел, — отвечал Монтроз, выступив вперед.

— К вам? — произнес Дункан Кэмбел с некоторым пренебрежением.

— Да, ко мне, — повторил Монтроз, — к графу Монтрозу, если вы не узнаете меня.

— Да вас и нелегко узнать в одежде конюха, — проговорил Дункан Кэмбел. — Впрочем, мне



следовало бы догадаться, что только под тлетворным влиянием вашей светлости — известного возмутителя Израиля — могло быть созвано это безрассудное собрание людей, совращенных с пути истинного.

— Я отвечу вам, — сказал Монтроз, — в духе ваших же пуритан. Я не возмущал народа Израиля, а смутил только тебя и дом отца твоего. Но прекратим наши пререкания, они никому не интересны, кроме, нас самих, и послушаем, какие вести привезли вы нам от вашего вождя Аргайла, ибо я полагаю, что на наше собрание вы явились от его имени.

— От имени маркиза Аргайла, — отвечал сэр Дункан Кэмбел, — от имени шотландского парламента я спрашиваю вас, что означает сие странное сборище? Если оно имеет целью нарушение мира в стране — больше подобало бы честным людям и добрым соседям предупредить нас, дабы мы могли принять меры.

— Странные дела творятся ныне в Шотландии, — сказал Монтроз, отворачиваясь от Дункана Кэмбела и обращаясь ко всему собранию. — С каких это пор именитые и знатные шотландцы не имеют права собираться в доме своего общего друга без вмешательства и допроса со стороны наших правителей, желающих знать предмет нашего совещания? Помнится мне, что наши предки «мели обыкновение съезжаться на охоту в горах или собираться вместе ради другой какой-нибудь цели, не испрашивая предварительного разрешения ни у великого Мак-Каллумора, ни у кого-либо из его эмиссаров или приспешников.

— Были такие времена в Шотландии, — отозвался один из западных вождей, — и таковые настанут вновь, когда непрошенные гости, захватившие наши исконные владения, принуждены будут довольствоваться своим озерным краем и перестанут налетать на нас, как стая прожорливой саранчи.

— Должен ли я понимать это так, — спросил Дункан, — что все ваши воинственные замыслы направлены только против моего клана? Или же Сыны Диармида должны пострадать заодно со всем мирным и добропорядочным населением Шотландии?

— Я желал бы, — вскочив с места, крикнул свирепого вида предводитель одного из кланов, — задать только один вопрос рыцарю Арденвору, прежде чем он станет продолжать свои дерзкие расспросы. Уж не о двух ли он головах, что не побоялся явиться к нам с оскорбительными речами?

— Друзья! — воскликнул Монтроз. — Прошу вас сохранять спокойствие! Лицо, посланное к нам для переговоров, имеет право свободно высказаться и может рассчитывать на полную неприкосновенность. А уж если сэр Дункан Кэмбел так настойчив, то я готов сообщить ему, что он находится среди верных слуг короля, созданных мною именем и властью его величества, в силу высочайших полномочий, возложенных на меня.

— Стало быть, — промолвил Дункан Кэмбел, — у нас начинается настоящая междоусобная война? Я слишком старый солдат, чтоб эта мысль могла испугать меня; но было бы к чести лорда Монтроза, если бы в настоящем деле он меньше считался со своим собственным честолюбием и больше думал бы о спокойствии отечества.

— Личным своим честолюбием и личными интересами руководствуются те, сэр Дункан, — возразил Монтроз, — кто довел страну до ее теперешнего состояния и вызвал необходимость применения крутых мер, на которые мы сейчас решаемся против своей воли.

— И какое же место среди этих честолюбцев, — спросил Дункан Кэмбел, — мы предоставим благородному графу, некогда столь ревностно преданному парламенту, что в тысяча шестьсот тридцать девятом году он первым переправился вброд через реку Тайн во главе своего полка и атаковал королевское войско? Если я не ошибаюсь, ведь это он огнем и мечом вводил ковенант в городах и селах Эбердина?

— Я понимаю ваш презрительный намек, сэра Дункан, — сдержанно возразил Монтроз, — и только отвечу вам, что если искреннее раскаяние может искупить грехи молодости и мое излишнее доверие к лукавым наветам честолюбивых лицемеров, то да простятся мне преступления, в которых вы меня обвиняете. Я приложу все свои силы, дабы заслужить прощение; я с мечом в руках готов пролить свою кровь во искупление моих заблуждений, — а более того не может ни один смертный!

— Я сожалею, милорд, — проговорил Дункан, — что должен передать подобные речи маркизу Аргайлу. Впрочем, маркиз уполномочил меня сказать, что согласен — во избежание кровавых распрей, которые неизбежно возникнут между горными кланами вследствие войны — установить мир к северу от границы горных районов, ибо в Шотландии и без того достаточно места для драки и нет необходимости соседям уничтожать друг друга и разрушать наследственные угодья.

— Столь миролюбивого предложения, — отвечал Монтроз улыбаясь, — вполне можно было ожидать от человека, личное поведение которого всегда было гораздо более миролюбиво, нежели те распоряжения, которые он отдавал. И если бы условия такого мирного соглашения были установлены по всей справедливости и если бы мы могли быть уверены, — а это, сэра Дункан, необходимо, — что ваш маркиз честно будет соблюдать эти условия, я, со своей стороны, не прочь оставить за собой мир, ибо впереди нас ждет война. Но вы, сэра Дункан, слишком старый и слишком опытный воин, чтобы мы могли позволить вам стать свидетелем наших приготовлений. Поэтому, как только вы отдохнете и подкрепите ваши силы, мы попросим вас возвратиться в Инверэри, а вместе с вами отправим уполномоченного для уточнения условий мира среди горцев — на тот случай, если маркиз искренне его желает.

В знак согласия Дункан Кэмбел поклонил голову.

— Милорд, — продолжал Монтроз, обращаясь к Ментейту, — будьте любезны позаботиться о сэре Дункане Кэмбеле Арденворе, пока мы здесь обсудим, кто должен будет отправиться вместе с ним к его начальнику. Прошу, Мак-Олей, оказать нашему гостю надлежащее гостеприимство.

— Я тотчас же распоряжусь, — сказал Аллан Мак-Олей, вставая с места и подходя ближе. — Я люблю сэра Дункана Кэмбела; в былые дни мы вместе страдали, и я этого не забыл.

— Милорд, — обратился к графу Ментейту Дункан Кэмбел, — мне прискорбно видеть, что вы, в столь юные годы, дали вовлечь себя в такое отчаянное и мятежное предприятие!

— Я молод, это правда, — отвечал Ментейт, — однако достаточно жил, чтобы уметь отличить добро от зла, верность от мятежа; и чем раньше я вступлюсь за правое дело, тем лучше и дольше послужу ему!

— И вы, мой друг, Аллан Мак-Олей! — продолжал Дункан, взяв Аллана за руку. — Неужели мы должны называть друг друга врагами, мы, которые столь часто сражались вместе против общего недруга? — Затем, обращаясь к собранию, он добавил:

— Прощайте, господа, многим из вас я искренне желаю добра, и ваш отказ принять условия мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть всевышний рассудит нас, — произнес он, возведя глаза к небу, — и укажет, кто прав: мы ли в своих мирных побуждениях или те, кто стремится посеять междоусобную распрю!

— Аминь! — отвечал Монтроз. — Пред этим судом мы все готовы предстать.

Дункан Кэмбел покинул зал в сопровождении Аллана Мак-Олея и лорда Ментейта.

— Вот истый Кэмбел, — сказал ему вслед Монтроз. — Все они таковы: мягко стелют, да

жестко спать!

— Простите, милорд, — возразил Эван Дху, — хоть мы и враждуем с его родом, но я не раз имел случай убедиться, что рыцарь Арденвор храбр в бою, честен в мирное время и искренен в своих советах.

— Таков он, несомненно, по своей натуре, — ответил Монтроз, — но сейчас он действует по наущению своего вождя — маркиза, самого лживого человека, когда-либо жившего на земле. И знаете что, Мак-Олей, — продолжал он, понизив голос, — дабы он не смутил неопытный ум Ментейта и затуманенный рассудок вашего брата, пошлите к ним музыкантов — музыка мешает уединенной беседе.

— Какие у меня музыканты! — отвечал Мак-Олей. — Был один-единственный волынщик, да и тот надорвался, желая перещеголять троих сотоварищей по искусству. Впрочем, я могу послать туда Эннот Лайл с ее арфой. — И он покинул зал, чтобы отдать распоряжение.

Между тем среди собравшихся возник горячий спор о том, кто возьмет на себя опасное поручение сопровождать Дункана на его обратном пути в Инверэри. Невозможно было возложить эту обязанность на кого-либо из лиц высшего звания, привыкших считать себя по достоинству равными самому Мак-Каллумору; для прочих, которые не могли выставить ту же отговорку, это поручение все же казалось неприемлемым. Можно было подумать, что замок Инверэри — своего рода долина смерти, такое отвращение выказывали даже наименее знатные вожди при одной мысли приблизиться к нему. После некоторого замешательства истинная причина была наконец высказана, а именно: кто бы из родовитых горцев ни принял на себя это поручение, маркиз, несомненно, затаит против того злобу и при первом же удобном случае заставит его горько раскаяться в своем поступке.

Монтроз, хотя и считал, что предложение перемирия не более как стратегическая уловка со стороны Аргайла, все же не решился отклонить его в присутствии тех, кого оно столь близко касалось; поэтому он предложил возложить это опасное и почетное дело на капитана Дальгетти, не принадлежавшего ни к одному горному клану и не имевшего владений в Верхней Шотландии, на которые могла бы обрушиться месть Аргайла.

— Однако у меня все же есть шея, — откровенно заявил Дальгетти. — А что, коли ему вздумается на мне сорвать свою досаду? Мне известен случай, когда честного парламентаря вздернули на виселицу, как шпиона. Римляне тоже не очень-то милостиво расправились с послами при осаде Капуи, хотя, впрочем, я где-то читал, что им всего-навсего отсекли руки и носы, выкололи глаза и отпустили с миром.

— Клянусь честью, капитан Дальгетти, — воскликнул Монтроз, — если маркиз, вопреки правилам войны, осмелится применить к вам малейшее насилие, то я отомщу ему так, что содрогнется вся Шотландия!

— Но бедному Дальгетти от этого не станет легче! — возразил капитан. — Впрочем, *coragio!* — как говорят испанцы. Имея в виду землю обетованную, сиречь мое поместье Драмсуэкиг, — *mea paupera regna*, как мы говорили в эбердинском училище, — я не намерен отказываться от поручения вашей светлости, ибо считаю, что честный воин должен повиноваться своему командиру, не страшась ни виселицы, ни меча.

— Благородные слова! — отвечал Монтроз. — И, если вам угодно будет отойти со мной в сторону, я сообщу вам условия, которые вы должны будете изложить Мак-Каллумору и на основании которых мы согласны не трогать его горных владений.

Не будем утруждать читателя подробностями. Условия были составлены в уклончивых выражениях и рассчитаны только на то, чтобы пойти навстречу предложению, которое, по мнению Монтроза, было сделано с единственной целью выиграть время. Когда капитан

Дальгетти, получив от Монтроза все необходимые указания и откланявшись по-военному, направился было к двери, граф знаком вернул его обратно.

— Надеюсь, — сказал он, — мне незачем напоминать офицеру, служившему под знаменем великого Густава Адольфа, что от него, как от лица, посланного для мирных переговоров, требуется нечто большее, нежели простая передача условий, и что его военачальник вправе ожидать по его возвращении кое-каких сведений о положении дел в лагере противника, насколько они окажутся в поле его зрения. Короче говоря, капитан Дальгетти, вам следует быть un peu clairvoyant.

— Верьте мне, ваша светлость, — отвечал капитан, придав грубым чертам своего лица неподражаемое выражение лукавства и смысленности, — если только они не наденут мне на голову мешок, что иногда проделывают с честными воинами, заподозренными в том самом, за чем вы посылаете меня, — ваша светлость может рассчитывать на точный доклад обо всем, что Дальгетти удастся увидеть или услышать, будь то хотя бы количество ладов в волынках Мак-Каллумора или число клеток на его плече и штанах.

— Отлично! — отвечал Монтроз. — Прощайте, капитан Дальгетти, и помните, что женщина обычно излагает свою главную мысль лишь в приписке к письму; так же и я хотел бы, чтобы вы считали последние мои слова самой важной частью возложенного на вас поручения.

Дальгетти еще раз многозначительно ухмыльнулся и, ввиду предстоящего утомительного путешествия, пошел позаботиться о дорожном провианте, для себя и для своего коня.

У дверей конюшни» — ибо он неизменно в первую очередь заботился о своем Густаве, — капитан Дальгетти увидел Ангюса Мак-Олея и сэра Майлса Масгрейва, осматривавших его коня. Похвалив ноги и стать лошади, оба в один голос начали отговаривать капитана от намерения совершить утомительное путешествие верхом на столь прекрасном скакуне.

Ангюс расписывал самыми мрачными красками дорогу — вернее, те дикие тропы, которыми капитану придется пробираться по Аргайлширу, — те жалкие хижины и лачуги, в которых ему предстоит останавливаться на ночлег, где невозможно добыть никакого фуража для лошади, если только она не пожелает глотать прошлогодний бурьян. Он решительно утверждал, что после такого странствования конь окажется совершенно непригодным для военной службы.

Англичанин энергично поддерживал мнение Ангюса и готов был прозакладывать душу и тело дьяволу, уверяя, что это просто грех — тащить с собой коня, стоящего хотя бы грош, в столь пустынный и негостеприимный край. Капитан Дальгетти с минуту пристально смотрел сначала на одного, потом на другого, а затем, как бы в нерешительности, спросил их: что же они посоветуют ему делать с Густавом при таких обстоятельствах?

— Клянусь рукой моего отца, любезный мой друг, — отвечал Мак-Олей, — если вы оставите коня на моем попечении, вы можете быть совершенно спокойны, что он будет и кормлен и холен, как подобает такому прекрасному и замечательному скакуну, и по возвращении вы застанете его гладким, как луковка, прокипяченная в масле.

— А если достопочтенный воин пожелает расстаться со своим скакуном за умеренную мзду, — сказал Майлс Масгрейв, — то у меня в кошельке еще побрякивают остатки от серебряных шандалов, и я с радостью готов переправить их в его карман.

— Короче говоря, мои почтенные друзья, — проговорил капитан Дальгетти, вновь поглядывая на своих собеседников с насмешливой прозорливостью, — я вижу, что вы оба не прочь были бы оставить себе что-нибудь на память о старом воине в том случае, если бы Мак-Каллумору вздумалось повесить его на, воротах своего замка. И, несомненно, в таком случае для меня было бы весьма лестно, что такой благородный и честный кавалер, как сэр Майлс Масгрейв, или такой почтенный и гостеприимный предводитель клана, как наш любезный хозяин,

окажется моим душеприказчиком.

Оба джентльмена поспешили торжественно заверить капитана, что у них и в мыслях не было подобных намерений, но между тем все так же продолжали распространяться о непроходимости горных дорог. Ангюс Мак-Олей невнятно бормотал какие-то труднопроизносимые гэльские названия, обозначавшие особенно опасные перевалы, ущелья, пропасти, вышки и стремнины, через которые, по его словам, лежал путь к Инверэри, а подошедший к конюшне старый Доналд не преминул подтвердить рассказ своего хозяина, всплескивая руками, возводя глаза к небу и качая головой при каждом гортанном звуке, произносимом Ангюсом. Но все это не переубедило непоколебимого капитана.

— Почтенные друзья мои, — сказал он. — Мой Густав далеко не новичок в этом деле и привык к опасным путешествиям в горах Богемии; а дороги в этих горах (не в обиду будь сказано, тем стремнинам и ущельям, о которых упоминает мистер Ангюс, и всем ужасам, о которых предупреждает сэр Майлс, никогда не выдавший их) могут поспорить с наихудшими дорогами в Европе. К тому же моя лошадь обладает прекрасным и общительным нравом, и хотя она не пьет вина, охотно разделяет со мной краюху хлеба и едва ли будет страдать от голода там, где можно будет достать сухарь или пресную лепешку. И чтобы покончить с этим делом, прошу вас, друзья мои, полюбоваться на походного коня сэра Дункана Кэмбела, который стоит тут в стойле перед нами, такой сытый и гладкий! А в ответ на высказанное вами беспокойство обо мне я честью могу вас заверить, что во время нашего совместного путешествия мы с Густавом начнем страдать от голода не раньше, чем конь сэра Дункана и его ездок.

С этими словами капитан наполнил большую меру овсом и подошел с ней к своему коню; Густав тихонько заржал, прядая ушами, и несколько раз ударил копытом о землю, словно желая показать, какая тесная дружба связывает его с хозяином. Он не прикоснулся к овсу, пока не ответил на ласку своего господина, лизнув ему руки и лицо. После такого обмена приветствиями конь усердно принялся за еду, с быстротой, избличавшей старую военную привычку; а Дальгетти, полюбовавшись минут пять своим боевым товарищем, произнес:

— Да будет все это впрок твоему честному сердцу, мой Густав! А теперь я и сам пойду подкрепить свои силы перед походом.

Затем он вышел из конюшни, предварительно поклонившись англичанину и Ангюсу Мак-Олею. Оставшись одни, они некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом разразились дружным хохотом.

— Этот малый пройдет сквозь огонь и воду, — заявил сэр Майлс Масгрейв.

— Я тоже так думаю, — отвечал Мак-Олей, — особенно если ему удастся выскользнуть из рук Мак-Каллумора так же легко, как он выскользнул из наших...

— Неужели вы думаете, — сказал англичанин, — что маркиз не сочтет нужным в лице капитана Дальгетти уважать законы цивилизованной войны?

— Не более, чем я счел бы нужным уважать распоряжение ковенантеров, — отвечал Мак-Олей. — Но, однако, пойдем, мне пора вернуться к гостям.

## Глава 9

...Избрали их во время бунта,

Когда закон — не то, что подобает,

А то, что неизбежно. В лучший час

Сказать бы надо:

«То, что подобает,

Должно таким остаться неизбежно»

И в прах их власть низвергнуть. «Кориолан»

В небольшой комнате, вдали от гостей, собравшихся в замке, лорд Ментейт и Аллан Мак-Олей почтительно ухаживали за Дунканом Кэмбелом, потчuya его всевозможными яствами. В своей беседе с Алланом Дункан предавался воспоминаниям о некоей облаве, предпринятой ими сообща против Сынов Тумана, с которыми рыцарь Арденвор, так же как и семейство Мак-Олей, был в смертельной, непримиримой вражде. Однако Дункан очень скоро постарался свести разговор на причины своего приезда в замок Дарнлинварах.

Ему крайне прискормбно видеть, говорил он, что друзья и соседи, которым следовало бы стоять плечом к плечу, готовы вступить в драку из-за дела, столь мало их касающегося.

— Не все ли равно вождям горных кланов, — продолжал он, — кто одержит верх — король или парламент? Не лучше ли предоставить им самим уладить свои разногласия, не вмешиваясь в их дела, а тем временем, воспользовавшись удобным случаем, укрепить свою собственную власть настолько, чтобы впоследствии на нее не могли посягнуть ни король, ни парламент?

Он напомнил Аллану Мак-Олею, что меры, предпринятые в предыдущее царствование якобы для примирения горных округов, в сущности, были направлены к уничтожению патриархальной власти вождей; при этом он упомянул о пресловутых поселениях так называемых файфских предпринимателей на острове Льюисе как о части заранее обдуманного плана, которым предусматривалось расселение чужестранцев среди кельтских племен, с тем чтобы постепенно уничтожить их древние обычаи, образ правления и лишить их наследства отцов.

— А между тем, — продолжал Дункан, обращаясь к Аллану, — именно ради поддержания деспотической власти монарха, взлелеявшего подобные намерения, шотландские вожди собираются затеять ссору и обнажить меч против своих соседей, родичей и исконных союзников.

— Не ко мне, — сказал Аллан, — а к моему брату, старшему сыну моего отца и наследнику нашего дома надлежит вам, рыцарь Арденвор, обращаться с такими словами. Правда, я брат Ангюса, но, как таковой, я только первый член нашего клана и своим добровольным и полным подчинением его воле должен подавать пример остальным.

— Причина войны, — вмешался лорд Ментейт, — несравненно более глубокая, нежели предполагает сэра Дункан Кэмбел. Дело не исчерпывается саксами и гэлами, горами и предгорьем, Верхней и Южной Шотландией. Вопрос о том, будем ли мы и дальше терпеть неограниченную власть, присвоенную горсточкой людей, ничем не лучше нас самих, вместо того чтобы вновь признать законную власть государя, против которого они восстали. А что касается, в частности, положения горных кланов, — продолжал отпрошу извинения у сэра Дункана Кэмбела за откровенность, но мне совершенно ясно, что единственным последствием незаконного захвата власти будет непомерное распространение могущества

одного клана за счет независимости прочих вождей в горных округах Шотландии.

— Не стану возражать вам, милорд, — сказал Дункан Кэмбел, — ибо мне известно ваше предубеждение, и я знаю, откуда оно исходит; однако позвольте сказать вам, что, будучи главой одной из соперничающих ветвей рода Грэмов, я, как и многие другие, знал некоего графа Ментейта, который не потерпел бы ни руководства в политике, ни командования над собой со стороны графа Монтроза.

— Не надейтесь, сэр Дункан, разжечь мое тщеславие наперекор моим убеждениям, — надменно ответил лорд Ментейт. — Мои предки получили из рук короля свой титул и свое звание; и это никогда не помешает мне сражаться за короля под началом человека, достойного быть главнокомандующим более, чем я. Меньше всего допустил бы я, чтобы чувство мелкой зависти помешало мне отдать свою руку и свой меч в распоряжение самого храброго, самого честного, самого доблестного мужа среди нашего шотландского дворянства.

— Жаль, — проговорил Дункан Кэмбел, — что вы к этому похвальному слову не можете добавить «самого верного, самого постоянного». Но я не намерен вступать с вами в опор, милорд, — добавил он, движением руки как бы отмахиваясь от дальнейших пререканий, — ваш жребий брошен. Позвольте мне только выразить свое глубокое сожаление по поводу горестной участи, на которую природная опрометчивость Ангюса Мак-Олея и ваше влияние, милорд, обрекают моего молодого друга Аллана вместе со всем кланом его отца и многими другими храбрыми людьми.

— Жребий брошен для всех нас, сэр Дункан, — хмуро произнес Аллан, отвечая собственным мрачным мыслям. — Железная рука неумолимого рока выжгла у нас на челе печать нашей судьбы задолго до того, как мы научились выражать свои желания или могли бы шевельнуть пальцем в свою защиту. Будь это иначе, как мог бы ясновидящий узнавать будущее по смутным предчувствиям, которые преследуют его во сне и наяву? Провидеть можно только то, что должно совершиться неизбежно.

Дункан Кэмбел собрался ему ответить, и, вероятно, оба горца пустились бы в самые непроходимые дебри метафизики, если бы в это мгновение не отворилась дверь и в комнату не вошла Эннот Лайл с арфой в руках. Независимость вольной дочери гор была в ее походке и в ее взгляде, ибо, выросшая в постоянном общении с Ангюсом и его младшим братом, с лордом Ментейтом и другими юношами, посещающими замок Дарнлияварах, она не испытывала того смущения, которое молодая девушка, воспитанная среди одних женщин, испытывает — или считает нужным выказать — в мужском обществе.

Она была одета по-старинному, ибо новые моды редко проникали в северные горы и еще с большим трудом могли бы найти доступ в замок, населенный почти одними мужчинами, единственными занятиями которых были война и охота. Однако одежда Эннот не только была ей к лицу, но и довольно роскошна. Ее открытый спереди корсаж из голубого сукна с высоким воротником был украшен богатой вышивкой и серебряными пряжками, которые, при желании, можно было застегнуть. Широкие рукава доходили только до локтя и заканчивались золотой бахромой. Из-под этой верхней одежды, — если ее можно так назвать, — выглядывала голубая шелковая рубашка, также богато расшитая, но несколько более светлого оттенка, нежели корсаж. Юбка была из шелковой шотландки, в клетках которой преобладал голубой цвет, что значительно смягчало обычную пестроту шотландского тартана с его резким контрастом различных цветов. Вокруг шеи Эннот Обвивалась старинная серебряная цепочка, и на ней висел ключ, которым она настраивала свой инструмент. Из-под воротника был выпущен узенький рюш, заколотый у горла довольно дорогой брошью, некогда подаренной девушке лордом Ментейтом. Густые светлые кудри почти закрывали ее смеющиеся глаза, в то время как она, улыбаясь и слегка краснея, объявила, что Мак-Олей приказал осведомиться, не желают ли гости послушать музыку. Сэр Кэмбел с удивлением и

большим интересом смотрел на прелестное видение, так неожиданно прервавшее его спор с Алланом.

— Неужели, — шепотом спросил он Аллана, — это прелестное и изящное создание принадлежит к числу домашних музыкантов вашего брата?

— О нет! — поспешил ответить Аллан и добавил с легкой запинкой:

— Она..., она..., наша близкая родственница... И мы относимся к ней, — продолжал он уже более уверенно, — как к приемной дочери нашей семьи.

Он поспешно встал и с той почтительной учтивостью, которую способен выказать любой горец, когда считает это нужным, уступил свое место Эанот и принялся угощать ее всем, что стояло на столе, с усердием, явно рассчитанным на то, чтобы показать Дункану Кэмбелу ее высокое положение. Но если таково было намерение Аллана, то оно оказалось излишним. Сэр Дункан не спускал глаз с Эннот, и взор его выражал несравненно более глубокий интерес, нежели обычное внимание к особе благородного происхождения. Эннот даже смутилась под пристальным взглядом старого рыцаря; она не без некоторого колебания настроила свой инструмент и, ободряемая взглядом лорда Ментейта и Аллана, исполнила следующую кельтскую балладу, которую наш друг мистер Секундус Макферсон, о чьей любезности уже упоминалось выше, перевел на английский язык:

Сирота

Над замком стих ноябрьский град.

Над мглою серых стен

Луч солнца заиграл, и в сад

Выходит леди Энн.

Под дубом сирота сидит.

Лохмотья лишь на ней,

И, не растаяв, град блестит

Меж спутанных кудрей.

«О госпожа, счастливы те,

Кого ласкала мать.

Но кто поможет сироте

Печаль ее унять?!»

«Дай боже никому не знать

Сиротского житья,

Но трижды горше потерять

И мужа и дитя.



Двенадцать лет назад я в ночь  
Бежала от врагов  
И потеряла крошку-дочь  
У Фортских берегов».  
«О госпожа, прошли как тень  
Двенадцать лет тоски,  
С тех пор как сеть в Бригитты день  
Тащили рыбаки.  
И был сетями извлечен  
Ребенок чуть живой.  
Смотри же, пред тобою он  
С протянутой рукой»,  
Ее целует леди Энн:  
«О дочь, ты вновь со мной!  
Вовеки будь благословен  
Бригитты день святой!»  
И вот уж девочка в шелках,  
Богат ее наряд...  
И вместо града в волосах  
Жемчужины блестят.

Во время исполнения баллады лорд Ментейт с удивлением заметил, что пение Эннот Лайл производит на сэра Дункана Кэмбела гораздо более сильное впечатление, нежели можно было бы ожидать от человека его возраста и такого сурового нрава. Он знал, что северные горцы несравненно более чувствительны к песням и сказкам, чем их соседи, жители предгорья. Но даже это обстоятельство, думал он, едва ли могло служить причиной того смущения, с каким старик отвел глаза от певицы, точно не желая позволить им любоваться столь чарующим зрелищем. Еще менее можно было ожидать, что в чертах лица, обычно выражавших гордость, трезвую рассудительность и привычку повелевать, отразится столь сильное волнение, вызванное, казалось бы, таким незначительным поводом. Лицо старого рыцаря все более омрачалось, седые косматые брови хмурились, на глаза навернулись слезы. Он сидел молча, застыв в неподвижной позе, в течение двух-трех минут после того, как замер последний звук песни. Потом он поднял голову и взглянул на Эннот Лайл, как бы намереваясь заговорить с ней; внезапно изменив свое намерение, он обернулся к Аллану, видимо желая о чем-то спросить его, — но в это время дверь отворилась и на пороге появился хозяин дома.

Был день их странствий мрачен,

Хмур, уныл,

И каждый холм опасность им сулил.

Но был вдвойне опасен и суров

Дом, где они нашли ночлег и кров. «Путники», поэма

Поручение, возложенное на Ангюса Мак-Олея, было, видимо, такого рода, что выполнить его стоило хозяину немало труда; и лишь после того, как он, путаясь в словах, несколько раз начинал свою речь, ему наконец удалось сообщить сэру Дункану Кэмбелу, что воин, который должен сопровождать его, ожидает в полном снаряжении и все готово для их немедленного отъезда в Инверэри. Сэр Дункан Кэмбел в негодовании поднялся с места; оскорбление, заключавшееся в этом известии, в один миг рассеяло чувствительное настроение, навеянное музыкой.

— Мог ли я ожидать, — начал он, гневно глядя на Ангюса Мак-Олея, — мог ли думать, что в наших горах найдется предводитель клана, который в угоду саксу предложит рыцарю Арденвору покинуть его замок в ту пору, когда солнце уже клонится к закату, и прежде, нежели осушен второй кубок вина. Прощайте, сэр! Пища со стола невежи нейдет впрок! И знайте, что если мне еще когда-либо доведется посетить замок Дарнлияварах, то я приду с обнаженным мечом в одной руке и пылающим факелом — в другой!

— Милости просим, — отвечал Ангюс. — Клянусь, что приму вас с честью. И, будь с вами хоть пятьсот Кэмбелов, я позабочусь приготовить для всех вас такое угощение, что вам не придется жаловаться на отсутствие гостеприимства в Дарнлинварахе!

— Благодарю за предупреждение! — промолвил сэр Дункан. — Ваша склонность прихвастнуть слишком хорошо известна, и никто не станет ронять свое достоинство, прислушиваясь к вашим угрозам. Вам, милорд, и Аллану, заместившему моего невежу хозяина, приношу искреннюю благодарность. А вам, моя красавица, — продолжал он, обращаясь к Эннот Лайл, — позвольте выразить мою признательность за то, что вы оживили родник, который уже много лет как высох в моей душе.

С этими словами он покинул комнату и отдал приказание позвать своих людей. Ангюс Мак-Олей, смущенный и вместе с тем глубоко задетый обвинением в недостатке гостеприимства, что считалось самым большим оскорблением для горца, не вышел провожать сэра Дункана во двор замка, где старый вождь садился на своего коня, подведенного к крыльцу. В сопровождении шести всадников и в обществе капитана Дальгетти, который ожидал его, держа Густава в поводу, в полной боевой готовности, но не садился в седло до появления рыцаря Арденвора, — сэр Дункан покинул замок.

Путешествие было долгим и утомительным, но отнюдь не сопровождалось теми чрезмерными лишениями, которые предрекал старший Мак-Олей.

По правде говоря, сэр Дункан умышленно уклонялся от тех тайных и более коротких горных троп, которыми быстро можно было достигнуть с запада Аргайлского графства, ибо его родич

маркиз Аргайл нередко хвастал, что и за сто тысяч крон не согласился бы, чтобы кто-нибудь из смертных знал те пути, по которым враждебное войско могло бы проникнуть в глубь его владений.

Поэтому сэр Дункан Кэмбел тщательно избегал горных троп и, спустившись в предгорье, направился к ближайшей морской гавани, где всегда стояло наготове несколько полупалубных галер. Маленький отряд отплыл на одном из этих кораблей, взяв на борт и Густава, который настолько привык к разнообразным похождениям, что путешествовал по морю и по суше столь же спокойно, как и его хозяин.

Благодаря попутному ветру они быстро продвигались вперед на парусах и на веслах; и на следующий день рано утром капитану Дальгетти, помещавшемуся в небольшой каюте под палубой, было сообщено, что галера стоит под стенами замка сэра Дункана Кэмбела.

Поднявшись на палубу, он, в самом деле, увидел возвышавшийся перед ним замок Арденвор. Это была мрачная четырехугольная крепость внушительных размеров и очень высокая, стоявшая на скале, далеко выдававшейся в морской залив — вернее, морокой рукав, — куда они вошли накануне вечером. Высокая стена с угловыми башнями защищала замок со стороны суши, в то время как со стороны моря замок так близко подступал к краю отвесной скалы, что там едва оставалось место для батареи из семи пушек, предназначенной для защиты крепости от нападения с залива; впрочем, эта батарея была расположена слишком высоко, чтобы оказать какую-либо существенную помощь в новейших условиях ведения войны.

Восходящее солнце поднималось из-за старой крепости; ее тень легла на воды озера, затемняя палубу галеры, по которой расхаживал капитан Дальгетти, ожидавший с некоторым нетерпением сигнала сойти на берег. Сэр Дункан Кэмбел, как ему было сообщено, уже находился в стенах своего замка; но никто не внял предложению капитана Дальгетти последовать за ним на берег; слуги заявили, что ему надлежит подождать разрешения или приказа рыцаря Арденвора.

Вскоре приказ был получен: показалась лодка, на носу которой стоял волынщик с вышитым на левом рукаве кафтана серебряным гербом рыцаря Арденвора и что есть мочи наигрывал на волынке фамильный марш Кэмбелов, под названием «Кэмбелы идут!». Он прибыл, чтобы сопровождать посланца Монтроза в замок Арденвор.

Расстояние между галерой и берегом было столь незначительно, что едва ли была необходимость в восьми дюжих гребцах в беретах, коротких куртках и клетчатых штанах, чьи дружные усилия направили лодку в узкий заливчик, где ей полагалось причалить, так быстро, что капитан Дальгетти едва успел заметить, как она отделилась от борта корабля. Несмотря на сопротивление Дальгетти, два гребца подхватили его, усадили на спину третьему и, перейдя мелководье вброд, благополучно доставили капитана на берег у подножия скалы, на которой стоял замок. В передней грани этой скалы виднелось нечто вроде входа в низкую пещеру, по направлению к которой гребцы собирались было тащить нашего друга, но он, не без труда вырвавшись из их рук, объявил, что не сделает ни шагу, пока не убедится в том, что Густав благополучно доставлен на берег. Гребцы ничего не могли уразуметь из слов капитана, пока один из них, кое-как понимавший по-английски, вернее — немного знавший южношотландское наречие, не воскликнул: «Стой! Да ведь это он о своей лошади. И что она ему далась!» Дальнейшие возражения со стороны капитана Дальгетти были прерваны появлением самого сэра Дункана Кэмбела у входа пещеры. Он любезно предложил капитану Дальгетти воспользоваться гостеприимством замка Арденвор и заверил его честью, что слуги будут обращаться с Густавом соответственно тому великому имени, которое тот носит, не говоря уж о высоком достоинстве его господина. Несмотря на эти заверения, капитан Дальгетти все еще колебался, желая лично убедиться, какая участь ждет его боевого товарища; но тут двое гребцов подхватили капитана под руки, двое других принялись

подталкивать сзади, в то время как пятый восклицал:

«Да он рехнулся! Не слышит, что ли, что сам хозяин замка приглашает его к себе в гости? Это ли не великая честь для него!»

Понуждаемый таким образом, капитан Дальгетти мог лишь через плечо поглядывать на галерею, где он покинул товарища своих бранных подвигов. Через несколько минут он очутился в полной темноте, на лестнице, которая, начинаясь в упомянутой нами пещере с низким сводом, спиралью вилась в самых недрах скалы.

— Проклятые горцы, дикари! — вполголоса бормотал капитан. — Что со мною станется, если Густав, тезка непобедимого Льва Протестантской унии, будет изувечен их корявыми руками?

— Не беспокойтесь об этом, — произнес в темноте голос сэра Дункана, который оказался гораздо ближе, чем предполагал капитан, — мои люди привыкли ходить за лошадьми, чистить их, грузить и снимать с галеры, и вы вскоре увидите своего Густава целым и невредимым, каким он был в ту минуту, когда вы расстались с ним.

Капитан Дальгетти достаточно знал правила приличия, чтобы позволить себе и дальше пререкаться с хозяином замка, какие бы сомнения втайне ни волновали его душу. Поднявшись на несколько ступенек вверх по лестнице, он увидел свет, падавший из дверного пролета, и через железную решетку вышел на открытую галерею, высеченную в скале. Пройдя по ней шесть или восемь ярдов, он очутился перед второй дверью, также защищенной железной решеткой, за которой дорога снова углублялась в скалу.

— Великолепнейший проход! — заметил капитан. — Одного орудия или даже просто нескольких мушкетов вполне достаточно, чтобы защитить замок от любого нападения.

Сэр Дункан Кэмбел ничего не ответил ему; но в следующую минуту, когда они вступили во вторую галерею, он постучал о стены палкой, сначала с одной, потом с другой стороны входа. Зловещий гул, раздавшийся в ответ на эти удары, ясно показал капитану Дальгетти, что по обеим сторонам прохода установлены пушки, направленные на галерею, где они только что прошли, хотя амбразуры, через которые в случае надобности мог быть открыт огонь, были с внешней стороны тщательно прикрыты камнями и дерном. Поднявшись по второй лестнице внутри скалы, капитан Дальгетти и сэр Дункан вновь оказались на открытой площадке и пошли по галерее, которую легко можно было обстрелять ружейным огнем или пушками в том случае, если бы кто-либо, пришедший сюда с враждебными намерениями, дерзнул продвинуться дальше. Третья лестница, также высеченная в скале, но без верхнего перекрытия, привела их наконец на батарею, расположенную у подножия башни. Эта последняя лестница была также очень узкая и крутая, и, не говоря о том, что ее можно было легко обстрелять сверху, одного-двух отважных бойцов, вооруженных пиками или секирами, было бы вполне достаточно, чтобы защитить проход против сотни осаждающих; ибо на ступеньках лестницы два человека не смогли бы поместиться рядом, а самая лестница не была ограждена перилами со стороны отвесной скалы, у подошвы которой с грохотом разбивались волны морского прибоя. Словом, для защиты этой древней кельтской крепости были приняты такие решительные меры, что человек со слабыми нервами и подверженный головокружениям лишь с трудом проник бы в замок, даже если бы обитатели не оказали ему ни малейшего сопротивления.

Капитан Дальгетти, старый, испытанный воин, не был подвержен такой слабости и, едва вступив во двор замка, начал клясться всеми святыми, что из всех мест, какие ему довелось защищать во время его многочисленных походов, укрепления замка сэра Дункана больше всего напоминают знаменитую крепость Шпандау в Бранденбургской Марке. Однако он неодобрительно отозвался о расположении пушек и заметил, что «если орудия, как галки или морские чайки, торчат на самой вершине утеса, они больше оглушают своим шумом, нежели

наносят чувствительный урон врагу».

Сэр Дункан, ничего не отвечая, повел капитана в замок. Вход в него был защищен подъемной решеткой и окованной железом дубовой дверью, между которыми оставалось пустое пространство в толщину стены.

Войдя в зал, стены которого были увешаны гобеленами, капитан Дальгетти продолжал выражать свое неодобрение. Однако он тотчас умолк, увидев на столе превосходный завтрак, и с жадностью набросился на еду. Насытившись, он обошел весь зал и, заглядывая поочередно в каждое окно, тщательно осмотрел местность вокруг замка. Затем он возвратился к своему креслу, развалился в нем и, вытянув ногу, стал похлопывать хлыстом по высокой ботфорте с развязностью плохо воспитанного человека, разыгрывающего непринужденность в высшем обществе. Тут он снова принялся излагать свое непрошеное мнение.

— Видите ли, сэр Дункан, — начал он, — ваш дом, несомненно, укреплен совсем недурно, однако, на взгляд опытного воина, все же нельзя сказать, что он выдержит длительную осаду. Ибо, сэр Дункан, если позволите обратить ваше внимание, со стороны суши над вашим домом возвышается или господствует, как говорим мы, военные, вон тот кругленький холм, на котором неприятель может установить такую батарею пушек, что вам волей-неволей через сорок восемь часов придется капитулировать, если только бог не сотворит для вас чудо.

— Здесь нет дорог, по которым можно было бы подвезти пушки для осады Арденвора, — сухо ответил сэр Дункан. — Мой замок окружен топями и непроходимыми болотами, и даже вы со своим конем не проберетесь иначе, как по узким тропинкам, которые можно заградить в течение нескольких часов.

— Вам угодно так думать, сэр Дункан, — возразил капитан, — но мы, военные люди, полагаем, что там, где есть морской берег, есть и свободный доступ: когда нельзя подвезти пушки и боевые припасы сухим путем, их легко доставить морем к тому месту, где их нужно пустить в ход. Нет такого замка, как бы надежно ни было его местоположение, который мог бы считаться неуязвимым — вернее сказать, неприступным. И я заверяю вас, сэр Дункан, что бывали случаи, когда двадцать пять человек благодаря дерзкому и неожиданному нападению брали с бою крепость, защищенную не хуже вашего Арденвора, и убивали, захватывали в плен или задерживали в качестве заложников целый гарнизон, вдесятеро превышавший их численностью.

Невзирая на светское воспитание и умение скрывать свои чувства, сэр Дункан был все же явно уязвлен и раздосадован замечаниями, которые капитан Дальгетти высказывал с простодушной важностью, избрав предметом беседы такую область, в которой считал себя способным блеснуть и, как говорится, «оказать свое слово», нимало не думая о том, приятно это хозяину или нет.

— Вам незачем объяснять мне, капитан Дальгетти, — произнес сэр Дункан несколько раздраженным тоном, что крепость может быть взята приступом, если ее недостаточно доблестно защищают или защитники ее захвачены врасплох. Надеюсь, что моему скромному жилищу не грозит ни то, ни другое, даже если бы сам капитан Дальгетти вздумал осаждать его.

— И все же, сэр Дункан, — не унимался разошедшийся вояка, — я по-дружески советовал бы вам возвести форт на том холме и выкопать за ним глубокий ров или траншею, что нетрудно сделать, заставив работать окрестных крестьян; доблестный Густав Адольф столь же часто воевал лопатой и заступом, как копьем, мечом и мушкетом. Мой совет вам также — укрепить упомянутый форт не только рвом или канавой, но и частоколом, так называемым палисадом. Тут сэр Дункан, окончательно выведенный из терпения, покинул комнату; но неугомонный

капитан последовал за ним до дверей и, возвышая голос по мере того, как его хозяин удалялся, продолжал разглагольствовать, пока тот еще мог его слышать:

— А этот частокол, или палисад, следует искусно соорудить с выходящими внутрь углами и бойницами или зубцами для стрелков, так что если бы неприятель... Ах он, невежа! Северный дикарь! Все они надуты, как павлины, и упрямы, как козлы... Упустить такой случай, когда он мог превратить, хоть и не по всем правилам военного искусства, свой дом в неприступную крепость, о которую любая осаждающая армия обломала бы себе зубы! Однако, — продолжал капитан, высунувшись в окно и глядя вниз, на полоску земли у подножия скалы, — я вижу, что они благополучно доставили Густава на берег. Славный мой конь! Я бы узнал его гордо вскинутую голову среди целого эскадрона! Я должен пойти взглянуть, как они его устроят.

Но едва он вышел во двор и стал спускаться по лестнице, ведущей к морю, как двое часовых, скрестив свои секиры, дали понять, что ему грозит опасность.

— Черт побери! — воскликнул воин. — Ведь я не знаю пароля. А объясняться с ними на их тарбарском наречии я не мог бы даже под страхом смерти.

— Я вас выручу, капитан Дальгетти, — произнес сэр Дункан, который, появившись неизвестно откуда, вновь приблизился к нему. — Мы вместе пойдем и посмотрим, как там устроили вашего любимца.

С этими словами сэр Дункан повел капитана Дальгетти вниз по лестнице к берегу моря; обогнув утес, они очутились перед конюшнями и прочими службами замка, приютившимися за выступом скалы. Тут капитан Дальгетти обратил внимание на то, что со стороны суши замок был огражден глубоким горным ущельем, частично созданным природой, частично искусственно углубленным, и доступ в замок через него был возможен только по подъемному мосту.

И все же, несмотря на то, что сэр Дункан с торжествующим видом указал ему на эти надежные меры защиты, капитан Дальгетти продолжал твердить о необходимости возвести форт на холме Драмснэб — круглой возвышенности на восток от замка, ибо оттуда замок мог быть осыпан градом пушечных ядер, начиненных огнем по способу, изобретенному польским королем Стефаном Баторием. Благодаря своей остроумной выдумке этот монарх до основания разрушил великий город Москву — столицу Московии. Правда, капитан Дальгетти признался, что сам никогда не видел этого новшества, но тут же добавил, что «с превеликим удовольствием посмотрел бы, как действуют такие ядра против замка Арденвор или какой-либо иной крепости». При этом он заметил, что «столь интересный опыт не может не порадовать каждого истинного любителя военного искусства».

Сэру Дункану Кэмбелу удалось наконец отвлечь капитана Дальгетти от этого разговора тем, что он привел его в конюшню, где разрешил ему по собственному усмотрению позаботиться о Густаве. После того как это было самым тщательным образом исполнено, капитан Дальгетти выразил желание возвратиться в замок, заметив, что время до обеда, который, по его расчетам, должен быть подан около полудня, он намерен употребить на чистку своих доспехов, несколько потускневших от морского воздуха, ибо он опасается, как бы неопрятный вид не уронил его в глазах Мак-Каллумора.

На обратном пути в замок капитан Дальгетти не преминул предостеречь сэра Дункана Кэмбела от великого ущерба, который тот может понести при внезапном нападении неприятеля, если его лошади, рогатый скот и амбары с хлебом окажутся отрезанными и уничтоженными. Поэтому он снова настоятельно советовал ему возвести форт на холме, носящем название Драмснэб, и предлагал свои дружеские услуги для составления плана. В ответ на все его бескорыстные советы сэр Дункан удовольствовался тем, что, приведя своего

гостя в предназначенную для него комнату, сообщил, что звон колокола известит его о времени обеда.

## Глава 11

Так это, Болдвин, замок твой?

Печально

Флаг траурный над башней он

Простер,

Вспененных вод сверканье помрачая.

Когда бы жил я здесь, смотрел

На мглу,

Которая пятнает лик природы,

И слушал чаек крик и ропот волн -

Я б лучше быть хотел в лачуге

Жалкой

Под ненадежным кровом бедняка. Браун

Доблестный ритмейстер охотно посвятил бы свой досуг изучению окрестностей замка сэра Дункана, дабы воочию убедиться в степени его неприступности. Но дюжий часовой с секирой в руках, поставленный у дверей его комнаты, весьма выразительным жестом дал ему понять, что он находится как бы в почетном плену.

«Странное дело, — думал про себя Дальгетти, — как хорошо эти дикари знают правила военной тактики. Кто бы мог ожидать, что им известен принцип великого и божественного Густава Адольфа, считавшего, что парламентар должен быть наполовину посланником, наполовину лазутчиком?»

Покончив с чисткой своего оружия, Дальгетти спокойно уселся в кресло и занялся вычислением тех сумм, которые он получит в конце шестимесячной кампании, если ему будут платить по полталера в сутки. Решив эту задачу, он приступил к извлечению квадратного корня из двух тысяч, чтобы вычислить, поскольку человек нужно ставить в шеренгу, чтобы построить полк в каре.

Его математические выкладки были прерваны веселым трезвоном обеденного колокола, и тот самый горец, который только что исполнял обязанности часового, теперь, в роли церемониймейстера, ввел его в зал, где стол, накрытый на четыре прибора, являл все признаки шотландского хлебосольства. Сэр Дункан вошел в зал, ведя под руку свою супругу высокую увядшую, печальную женщину в глубоком трауре. За ними следовал пресвитерианский пастор в женевской мантии и черной шелковой шапочке, так плотно сидевшей на его коротко остриженных волосах, что их почти не было видно, вследствие чего

открытые торчащие уши казались чрезмерно большими. Такова была безобразная мода того времени, отчасти послужившая поводом к презрительным прозвищам — круглоголовые, лопухие псы и тому подобное, которыми надменные приверженцы короля щедро награждали своих политических врагов.

Сэр Дункан представил своего гостя жене, которая ответила на его военное приветствие строгим и молчаливым поклоном, и трудно было решить, какое чувство — гордость или печаль — преобладало в этом движении. Священник, которому был затем представлен капитан, бросил на него взгляд, исполненный недоброежелательства и любопытства.

Капитан, привыкший к худшему обхождению, к тому же со стороны лиц гораздо более опасных, не обратил особого внимания на косые взгляды хозяйки и пастора и всей душой устремился к громадному блюду вареной говядины, дымившемуся на другом конце стола. Но атаку — как выразился бы капитан — пришлось отложить до окончания весьма длинной молитвы, после каждого стиха которой Дальгетти хватался за нож и вилку, словно за копье или мушкет во время наступления, и вновь принужден был нехотя опускать их, когда велеречивый пастор начинал новый стих молитвы. Сэр Дункан слушал молитву вполне благопристойно, хотя ходили слухи, будто он присоединился к сторонникам ковенанта скорее из преданности своему вождю, нежели из искренней приверженности к свободе или пресвитерианству. Зато супруга его слушала молитву с чувством глубокого благоговения.

Обед прошел в почти монашеском молчании. Капитан Дальгетти не имел обыкновения пускаться в разговоры, пока его рот был занят более существенным делом; сэр Дункан не проронил ни слова, а его супруга лишь изредка обменивалась замечаниями с пастором, впрочем, так тихо, что ничего нельзя было слышать.

Но когда кушанья были убраны со стола и на их месте появилось вино различных сортов, капитан Дальгетти, не имея уже веских причин для молчания и устав от безмолвия присутствующих, предпринял новую атаку на своего хозяина по поводу все того же предмета:

— Касательно той горки или возвышенности, вернее — холма, называемого Драмснэбом, мне было бы весьма лестно побеседовать с вами, сэр Дункан, о характере укрепления, которое следовало бы на нем возвести; должен ли это быть остроугольный или тупоугольный форт? По этому поводу мне довелось слышать ученый спор между великим фельдмаршалом Бэнером и генералом Тифенбахом во время перемирия.

— Капитан Дальгетти, — сухо прервал его сэр Дункан, — у нас в горах не принято, обсуждать военные дела с посторонними лицами. А мой замок, думается мне, выдержит нападение и более сильного врага, нежели та армия, которую могут выставить против него злополучные воины, оставшиеся в Дарнлинварахе.

При этих словах хозяйка дома тяжело вздохнула, словно они вызвали в ее памяти какие-то мучительные воспоминания.

— Всевышний даровал, — торжественно произнес пастор, обращаясь к ней, — и он же отъял. Желаю вам, миледи, еще долгие годы благословлять имя его.

На это поучение, предназначавшееся, видимо, для нее одной, миледи отвечала наклоном головы, более смиренным, нежели капитан Дальгетти мог бы ожидать от нее. Предполагая, что теперь она будет более общительна, он немедленно обратился к ней:

— Не удивительно, что ваша милость изволили приуныть при упоминании о военных приготовлениях, которые, как я неоднократно замечал, порождают смущение в сердцах женщин всех наций и почти всех состояний. Однако Пентесилея в древности, а равно Жанна д'Арк и еще некоторые другие женщины были совсем иного рода. А когда я служил у испанцев, мне говорили, будто в прежние времена герцог Альба составил из девушек,



следовавших за его войском, особые tertias (называемые у нас полками) и назначил им офицеров и командиров из их же женского сословия, под руководством военачальника, называемого по-немецки Hureweibler, что значит в переводе: «командир над девками». Правда, это были особы, которых нельзя ставить на одну доску с вашей милостью, так сказать quae quaestum corporibus faciebant, как мы в эбердинском училище имели обыкновение называть Джин Дрокилс; французы, их называют куртизанками, а у нас в Шотландии...

— Миледи избавит вас от дальнейших разъяснений, капитан Дальгетти, — прервал его хозяин довольно сурово, а священник добавил, что подобные речи скорее пристало слышать в кордегардии, среди нечестивых солдат, нежели за столом почтенного дворянина, в присутствии знатной дамы.

— Прошу прощения, святой отец или доктор, — aut quocumque alio nomine gaudes, ибо да будет вам известно, что я обучен правилам учтивой речи, — сказал, нимало не смущаясь, доблестный парламентар, наливая вино в объемистый кубок.

— Я не вижу оснований для вашего упрека, ибо я упомянул об этих turpes personae не потому, что считаю их личность и занятие надлежащим предметом беседы в присутствии миледи, но просто случайно, per accidens — в виде примера, дабы указать на их храбрость и решительность, усугубленные, без сомнения, отчаянными условиями, в которых им приходится жить.

— Капитан Дальгетти, — произнес сэр Дункан, — нам придется прекратить этот разговор, ибо мне необходимо сегодня вечером закончить кое-какие дела, чтобы иметь возможность сопровождать вас завтра в Инверэри, а следовательно... — Завтра сопровождать в Инверэри этого человека! — воскликнула миледи. — Не может этого быть, сэр Дункан! Неужели вы забыли, что завтра день печальной годовщины и что он должен быть посвящен печальному обряду?..

— Нет, не забыл, — отвечал сэр Дункан. — Может ли быть, чтобы я когда-нибудь забыл об этом? Но наше тревожное время требует, чтобы я без промедления препроводил этого офицера в Инверэри.

— Однако, надеюсь, вы не имеете намерения лично сопровождать его? — спросила миледи.

— Было бы лучше, если бы я это сделал, — отвечал сэр Дункан. — Впрочем, я могу завтра послать письмо Аргайлу, а сам выехать на следующий день. Капитан Дальгетти, я сейчас напишу письмо, в котором объясню маркизу ваши полномочия и ваше поручение, и попрошу вас завтра рано утром быть готовым для поездки в Инверэри.

— Сэр Дункан Кэмбел, — возразил Дальгетти, — я полностью и всецело в вашей власти; тем не менее прошу вас не забывать о том, что вы запятнаете свое имя, ежели допустите, чтобы мне как уполномоченному вести мирные переговоры была нанесена малейшая обида, — clam, vi, vel rescagio. Я не говорю, что это может случиться с вашего согласия, но вы отвечаете даже в том случае, если не проявите достаточной заботы, чтобы помочь мне избежать этого.

— Моя честь будет вам порукой, сэр, — отвечал сэр Дункан Кэмбел, — а это более чем достаточное ручательство. А теперь, — продолжал он, вставая из-за стола, — я должен подать вам пример и удалиться на покой.

Хотя час был еще ранний, Дальгетти почувствовал себя вынужденным последовать этому примеру, но, как искусный полководец, он решил воспользоваться хотя бы минутным промедлением, которое случай предоставлял ему.

— Верю вашему благородному слову, — произнес он, наливая себе вина, — и пью за ваше здоровье, сэр Дункан, и за продолжение вашего знатного рода!

Глубокий вздох был единственным ответом на эти слова.

— А теперь, сударыня, — продолжал капитан, вновь поспешно наполняя свой кубок, — позвольте выпить за ваше драгоценное здоровье и исполнение всех ваших благих желаний! Затем, ваше преподобие, я наполняю чашу (тут он не преминул согласовать свои слова с делом) и пью за то, чтобы утопить в вине все неприязненные чувства, которые могли бы возникнуть между вами и капитаном, правильнее сказать — майором Дальгетти. А так как во фляге осталась еще одна чарочка, я выпиваю последнюю каплю за здоровье всех честных кавалеров и храбрых воинов... Ну вот, теперь фляга пуста, и я готов, сэр Дункан, последовать за вашим слугой или часовым к месту моего отдохновения.

Он получил милостивое разрешение удалиться, причем было сказано, что, так как вино пришлось ему, по-видимому, по вкусу, то в его комнату будет прислана вторая фляга, которая поможет ему с приятностью коротать часы одиночества.

Едва капитан достиг предназначенной ему комнаты, как это обещание было исполнено, а появившаяся вслед за тем закуска в виде паштета из оленины вполне примирила его с отсутствием общества и пребыванием в почетном заключении.

Тот же самый слуга, по-видимому — дворецкий, который приносил угощение, передал капитану Дальгетти запечатанный пакет, перевязанный, согласно обычаю того времени, шелковым шнурком и адресованный в самых почтительных выражениях «высокородному и могущественному властителю Арчибалду, маркизу Аргайлу, лорду Лорнскому и прочая». Подавая пакет, дворецкий в то же время уведомил капитана, что ему надлежит рано утром отправиться верхом в Инверэри, прибавив, что письмо сэра Дункана послужит ему одновременно и рекомендацией и пропуском в пути. Не забывая о том, что, помимо обязанности парламентаря, ему было поручено собрать все нужные сведения, и желая ради собственной безопасности узнать причину, побудившую сэра Дункана отправить его вперед одного, капитан Дальгетти со всей осторожностью, подсказанной ему большим жизненным опытом, осведомился у слуги, какие именно обстоятельства задерживают сэра Дункана дома на следующий день. Слуга, родом из предгорья, ответил, что сэр Дункан и его супруга имеют обыкновение отмечать суровым постом и молитвой день печальной годовщины, когда их замок подвергся внезапному нападению и их четверо детей были жестоко умерщвлены шайкой горцев. Все это произошло во время отсутствия самого сэра Дункана, находившегося в походе, предпринятом маркизом против Мак-Линов, владевших островом Мэлл.

— Поистине, — сказал на это капитан, — милорд и миледи имеют основания для поста и молитвы. Все же я позволю себе заметить, что если бы сэр Дункан внял совету какого-нибудь опытного воина, искушенного в деле укрепления уязвимых мест, он построил бы форт на небольшом холме, находящемся слева от подъемного моста. И преимущества этого я могу сейчас доказать тебе, мой почтенный друг. Допустим, к примеру, что этот паштет представляет собой крепость. Скажи, кстати, как тебя зовут, дружище?

— Лоример, ваша милость, — отвечал слуга.

— За твоё здоровье, почтенный Лоример! Так вот, Лоример, допустим, что этот паштет будет главным центром или цитаделью защищаемой крепости, а эта мозговая кость — форт, возводимый на холме...

— Простите, сударь, — прервал его Лоример, — я, к сожалению, не могу дольше оставаться и дослушать ваши объяснения, ибо сейчас прозвонит колокол. Сегодня вечером в замке совершает богослужение достопочтенный мистер Грэнингаул, духовник маркиза Аргайла; а так как из шестидесяти человек домашней челяди всего семеро понимают южно-шотландский

язык, неудобно было бы одному из них отсутствовать, да и миледи была бы мной весьма недовольна. Вот тут, сударь, трубки и табачок, если вам угодно будет затянуться дымком; а если еще что-нибудь потребуется, все будет доставлено часа через два, по окончании службы. — С этими словами Лори-мер покинул комнату.

Едва он удалился, как раздались мерные удары башенного колокола, призывавшего обитателей замка на молитву; в ответ со всех концов замка слышались звонкие женские голоса вперемешку с низкими мужскими; громко разговаривая на местном гортанном наречии, слуги спешили в часовню по длинному коридору, куда выходили многочисленные двери из жилых комбат, — в том числе и дверь из помещения, занимаемого капитаном Дальгетти.

«Бегут, словно на переключку, — подумал капитан, — и если все обитатели замка будут присутствовать на параде, я мог бы пока немножко прогуляться, подышать свежим воздухом да кстати проверить свои наблюдения относительно уязвимых мест этой крепости».

Итак, когда все вокруг стихло, он отворил дверь своей комнаты и только было решился переступить порог, как сразу же увидел в конце коридора своего приятеля часового, приближавшегося к нему, не то насвистывая, не то напевая какую-то гэльскую песенку. Показать свое смущение было бы и неразумно и недопустимо для военного человека. Поэтому капитан с самым независимым видом стал насвистывать шведский сигнал к отбою еще громче, нежели часовой насвистывал свою песенку, и, притворившись, что он выглянул лишь на минуту, чтобы глотнуть свежего воздуха, шаг за шагом отступил в свою комнату, и, когда часовой почти поравнялся с ним, захлопнул дверь перед самым его носом.

«Очень хорошо, — подумал про себя капитан. — Сэр Дункан упразднил мое честное слово тем, что приставил ко мне сторожей, ибо, как говорилось у нас, в эбердинском училище, *fides et fiducia sunt relativa*, и если он не доверяет моему слову, то и я не чувствую себя обязанным держать его, если по каким-либо обстоятельствам мне вздумается нарушить его Честное слово, бесспорно, теряет свою силу, как только взамен его вступает в действие сила физическая».

Итак, утешая себя метафизическими рассуждениями, на которые его толкнула бдительность часового, ритмейстер Дальгетти возвратился в отведенные ему покои. Вечер он провел, деля свое время между теорией и практикой военного дела, а именно: то предавался тактическим вычислениям, то решительно шел на приступ паштета и фляги с вином.

На рассвете его разбудил Лоример, явившийся с весьма обильным завтраком и объяснивший, что, как только капитан подкрепитя, он должен отправиться в Инверэри, ибо лошадь и проводник уже дожидаются его. Капитан воспользовался любезным предложением хлебосольного дворецкого и, покончив с завтраком, направился к выходу. Проходя по замку, он увидел, что в большом зале слуги занавешивают стены черным сукном, и заметил своему спутнику, что такое убранство ему довелось видеть, когда тело бессмертного Густава Адольфа было выставлено в замке Вольгаст, и, следовательно, по его разумению, это свидетельствует о строжайшем соблюдении самого глубокого траура.

Когда капитан Дальгетти сел в седло, он увидел, что его окружают пять или шесть Кэмбелов, которые были приставлены к нему в качестве не то провожатых, не то конвойных. Все хорошо вооруженные, они находились под командой начальника, который, судя По гербу на щите и короткому петушиному перу на шапочке, а также по напускаемой им на себя важности, был, вероятно, дунье-вассал, то есть член клана высокого ранга; величавая осанка его говорила о том, что он состоит в довольно близком родстве с хозяином, а именно приходится ему десятиуродным или в крайнем случае двенадцатиуродным братом. Однако капитан Дальгетти не имел ни малейшей возможности получить какие-нибудь сведения как по этому, так и по любому другому вопросу, ибо ни начальник отряда, ни один из его подчиненных не говорили по-английски. Капитан ехал верхом, а военный конвой сопровождал его пешком; но

столь велико было их проворство и столь многочисленны естественные препятствия, встречавшиеся на пути всадника, что пешие не только не отставали от капитана, а, напротив, ему было трудно поспевать за ними. Он заметил, что они изредка поглядывают на него, словно опасаясь его попыток к бегству; и однажды, когда капитан слегка замешкался, переправляясь вброд через ручей, один из слуг стал поджигать фитиль своего ружья, давая ему понять, чтобы он лучше не пытался отставать от отряда. Дальгетти чувствовал, что подобное бдительное наблюдение за его особой не предвещает ничего хорошего; но делать было нечего, ибо попытка убежать от своих спутников в этой непроходимой и совершенно незнакомой ему местности была бы просто безумием. Поэтому он терпеливо продвигался вперед по пустынному и дикому краю, пробираясь по тропинкам, известным лишь пастухам да гуртовщикам, и поглядывая не с удовольствием, а с неприязнью на те живописные горные ущелья, которые в настоящее время привлекают со всех концов Англии многочисленных туристов, желающих усладить свои взоры величием горных красот Шотландии и ублажить свои желудки своеобразными кушаньями шотландской кухни.

Наконец отряд достиг южного берега великолепного озера, над которым возвышался замок Инверэри. Начальник затрубил в рог, и звуки его прокатились мощными отголосками по прибрежным скалам и лесам, послужив сигналом для хорошо оснащенной галеры, которая, выйдя из глубокой бухты, где она была укрыта, взяла на борт весь отряд, включая и Густава. Это смышленное четвероногое, выдавшее виды в своих многочисленных странствиях по морю и по суше, взшло на корабль и сошло на берег с достоинством воспитанного человека.

Плывя по зеркальной поверхности озера Лох-Фаин, капитан Дальгетти мог бы любоваться одним из великолепнейших зрелищ, созданных природой. Он мог бы заметить, как реки-соперницы Эрей и Ширей впадают в озеро, беря начало каждая в своем собственном темном и лесистом ущелье. Он мог бы увидеть на склоне холма, отлого поднимающегося над озером, древний готический замок, чьи причудливые очертания, зубчатые стены, башни, внешние и внутренние дворы были куда более живописны, нежели теперешние массивные и однообразные постройки. Он мог бы любоваться дремучими лесами, на много миль простиравшимися вокруг этого грозного, но поистине царственного жилища, и взор его мог бы насладиться стройным силуэтом пика Дэникоик, который, отвесно подымаясь от самого озера, упирался в небо своей препоясанной туманами вершиной, где, подобно орлиному гнезду, примостилась сторожевая башня, усугублявшая грозное величие древней твердыни.

Все это и еще многое другое мог бы заметить капитан Дальгетти, будь он к тому расположен. Но, надо признаться, доблестного капитана, позавтракавшего на рассвете, больше всего занимали дымок, вившийся из трубы замка, и предвкушение обильного провианта — как он обычно называл то, что этот дымок ему сулил.

Галера вскоре причалила к неровному молу, соединявшему озеро с маленьким городком Инверэри, в те далекие времена представлявшим собой лишь жалкое скопище хижин, среди которых там и сям были разбросаны редкие каменные дома. Городок простирался вверх от берега Лох-Файна до главных ворот замка, и картина, представившаяся глазам путников, отбила бы аппетит и заставила содрогнуться всякого, кто обладал бы менее мужественным сердцем и более слабыми нервами, нежели ритмейстер Дугалд Дальгетти, драмсуэкинский дворянин без поместья.

## Глава 12

Он все презрел — и нравы и законы,  
— Сей наглый, ум, для черных дел рожденный,

Неутомимый, злой, благопристойный,

У власти — зверь, в опале — беспокойный. «Авессалом и Ахитофель»

Селение Инверэри, ныне чистенький провинциальный городок, в те времена жалким видом своих домишек и хаотическим расположением немощных улиц вполне отвечал характеру сурового семнадцатого столетия.

Но еще более страшную черту той эпохи являла собой довольно просторная, не правильной формы базарная площадь, расположенная на полпути между пристанью и грозными воротами замка с его мрачным порталом, подъемными решетками и боковыми башнями. Посередине площади стояла грубо сколоченная виселица, на которой болталось пять мертвецов, из коих двое, судя по одежде, были уроженцами Нижней Шотландии; трое остальных были закутаны в национальные пледы горцев Верхней Шотландии. Две-три женщины сидели у подножия виселицы и, видимо, оплакивали покойников, вполголоса распевая поминальные молитвы. Впрочем, зрелище это было, очевидно, столь обычным, что не привлекало внимания местных жителей, ибо, столпившись вокруг капитана Дальгетти, они с любопытством рассматривали его воинственную фигуру, блестящие доспехи, рослого коня и даже не оглядывались на виселицу, украшавшую базарную площадь их селения.

Посланец Монтроза отнесся к делу не столь равнодушно, и, услышав два-три слова, произнесенных по-английски одним из горцев довольно миролюбивого вида, он тотчас же осадил Густава и обратился к горцу:

— Я вижу, у вас тут поработал начальник военной полиции. Не скажешь ли ты мне, за что казнены эти преступники?

Говоря это, Дальгетти взглянул на виселицу, и горец, поняв вопрос скорее по выражению его лица, нежели по произнесенным словам, тотчас же ответил.

— Трое — горцы-разбойники, мир праху их! — Тут он перекрестился. — А двое — с предгорья; чем-то они прогневили Мак-Каллумора, — и, с равнодушным видом отвернувшись от Дальгетти, пошел прочь, не дожидаясь дальнейших расспросов.

Дальгетти пожал плечами и поехал дальше, тем более что десятиюродный брат сэра Дункана Кэмбела начал проявлять признаки нетерпения.

У ворот замка его ожидало другое, не менее страшное свидетельство феодальной власти. За частоколом, или палисадом, возведенным, по-видимому, совсем недавно в качестве дополнительного укрепления ворот, защищенных с обеих сторон двумя пушками мелкого калибра, было небольшое огороженное место; посреди него стояла плаха, а на ней лежал топор. То и другое было залито свежей кровью, а рассыпанные кругом опилки отчасти изобличали, отчасти скрывали следы недавней казни.

В то время как Дальгетти смотрел на это новое доказательство жестокости, начальник конвоя внезапно дернул его за полу кожаной куртки, чтобы привлечь его внимание, и указал пальцем и кивком головы на высокий шест, на котором торчала человеческая голова, принадлежавшая, несомненно, казненному. Злобная усмешка, скользнувшая по лицу горца в то время, как он указывал на это ужасное зрелище, не предвещала ничего хорошего.

Дальгетти спешил у ворот замка, и Густава тотчас увели, не позволив капитану лично проводить его до конюшни, как он к тому привык.

Это устрасило храброго воина гораздо больше, чем вид орудий насильственной смерти.

«Бедный Густав! — подумал он про себя. — Если со мной случится недоброе, то уж лучше бы я оставил его в Дарнлинварахе, а не брал с собой к этим дикарям, которые едва умеют отличить голову лошади от ее хвоста. Но иногда долг заставляет человека расставаться с самым для него близким и дорогим...

Пусть ядра грохочут, гремит канонада, Вы смерти не бойтесь, вам слава — награда.

Исполним же долг свой, добудем победу Святой нашей вере и славному шведу!»

Усыпив до некоторой степени свои опасения заключительной строфой военной песни, капитан последовал за своим проводником в кордегардию замка, где толпились вооруженные горцы. Его предупредили, что он должен оставаться здесь, пока о его прибытии не будет доложено маркизу. Чтобы придать своему сообщению больше веса, отважный капитан передал начальнику конвоя пакет от сэра Дункана Кэмбела, пытаясь как можно лучше разъяснить ему знаками, что пакет должен быть вручен маркизу в собственные руки. Тот кивнул головой и удалился.

Капитан провел около получаса в кордегардии, где он вынужден был либо с презрением отворачиваться, либо дерзко отвечать на пытливые и вместе с тем враждебные взгляды вооруженных гэлов, у которых его внешность и воинские доспехи вызывали любопытство, так же как его личность и происхождение — явную ненависть. Все это капитан переносил с чисто военным хладнокровием, пока, по истечении указанного выше срока, не появился человек, одетый в черное бархатное платье, с золотой цепью на шее — наподобие современного эдинбургского судьи; но это был всего-навсего дворецкий маркиза. Войдя в комнату, он почтительно и торжественно пригласил капитана последовать за ним, чтобы предстать перед его господином.

В покоях, через которые им пришлось проходить, толпились слуги и гости разного чина и звания — вероятно, приглашенные умышленно, дабы ослепить посланника Монтроза и дать ему почувствовать, сколь велико могущество и великолепие дома Аргайлов по сравнению с соперничающим с ним домом Монтрозов. В одном из залов было полно лакеев в коричнево-желтых ливреях — то были цвета дома Аргайлов; выстроившись шпалерами, они безмолвно глазели на проходившего мимо них капитана Дальгетти.

В другом зале собрались знатные горцы и представители младших ветвей кланов; они развлекались игрой в шахматы, в триктрак и в другие игры, едва отрываясь, чтобы бросить любопытный взгляд на незнакомца. Третий зал был полон дворян из предгорья и военных, состоявших, по-видимому, при особе маркиза, и, наконец, в четвертом — аудиенц-зале — находился сам маркиз, окруженный почетной стражей, свидетельствовавшей о его высоком звании.

Этот зал, двойные двери которого распахнулись, чтобы пропустить капитана Дальгетти, представлял собой длинную галерею со сводчатым потолком над открытыми стропилами, балки которых были богато украшены резьбой и позолотой; стены были увешаны гобеленами и фамильными портретами. Галерею освещали стрельчатые готические окна с массивным переплетом в виде колонок и с цветными стеклами, пропускавшими тусклый свет сквозь нарисованные кабаньи головы, галеры, палицы и мечи, являвшие собой геральдические знаки могущественного дома Аргайлов и эмблемы почетных наследственных должностей — верховного судьи Шотландии и камергера королевского двора, издревле занимаемых членами этого рода. В верхнем конце великолепной галереи стоял сам маркиз, окруженный пышной толпой северных и южных дворян, среди которых находилось два-три духовных лица, приглашенных, вероятно, для того, чтобы они могли воочию убедиться в приверженности его светлости к пресвитерианству.

Сам маркиз был одет по моде того времени, неоднократно запечатленной на портретах

Ван-Дейка. Но одежда маркиза была строга и однотонна и скорее богата, нежели нарядна. Его смуглое лицо, изборожденный морщинами лоб и потупленный взгляд придавали ему вид человека, постоянно погруженного в размышления о важных государственных делах и в силу этой привычки сохранявшего многозначительное и таинственное выражение, даже когда ему нечего было скрывать. Его косоглазие, которому он был обязан своим прозвищем

— Джилспай Грумах, было менее заметно, когда он смотрел вниз, что и явилось, вероятно, одной из причин, почему он редко поднимал глаза. Он был высок ростом и очень худ, но держался с величавым достоинством, как это подобало его высокому положению. Была какая-то холодность в его обращении и что-то зловещее во взгляде, хотя он и говорил и вел себя с обычной учтивостью людей своего круга. Он был кумиром своего клана, возвышению которого много способствовал; но в той же мере его ненавидели горцы других кланов, ибо одних он уже успел обобрать, другие опасались его будущих посягательств на их владения, и все трепетали перед его все возрастающим могуществом.

Мы уже упоминали о том, что, появившись среди своих советников, чинов своего двора и пышной свиты своих вассалов, союзников и подчиненных, маркиз Аргайл, вероятно, рассчитывал произвести сильнейшее впечатление на капитана Дугалда Дальгетти. Но сей доблестный муж подвизался на военном поприще в Германии в эпоху Тридцатилетней войны, а в те времена отважный и преуспевающий воин был ровней великим мира сего. Шведский король и, по его примеру, даже надменные немецкие князья нередко смиряли свою гордость и, не будучи в состоянии удовлетворить денежные требования своих воинов, задабривали их всяческими привилегиями и знаками внимания. Капитан Дугалд Дальгетти мог с полным правом похвастать тем, что на пирах, задаваемых в честь монархов, ему не раз доводилось сидеть рядом с коронованными особами, и поэтому его трудно было смутить и удивить даже такой пышностью, какой окружил себя Мак-Каллумор. Капитан по своей натуре отнюдь не отличался скромностью — напротив, он был столь высокого о себе мнения, что, в какую бы компанию он ни попал, самоуверенность его возрастала соответственно окружающей обстановке, и он чувствовал себя столь же непринужденно в самом высшем обществе, как и среди своих обычных приятелей. Его высокое мнение о своей особе в значительной степени зиждилось на его благоговении перед воинским званием, которое — по его словам — ставило доблестного воина на одну доску с императором.

Поэтому, будучи введен в аудиенц-зал маркиза, он скорее развязно, нежели учтиво, направился в верхний конец галереи и подошел бы вплотную к Аргайлу, если бы тот движением руки не остановил его. Капитан Дальгетти повиновался, небрежно отдал честь и обратился к маркизу:

— Доброе утро, милорд! Или, точнее говоря, — добрый вечер! *Beso a usted las manes*, как говорят испанцы.

— Кто вы такой, сэр, и что вам здесь нужно? — спросил маркиз ледяным тоном, чтобы положить конец оскорбительной фамильярности капитана.

— Вот это прямой вопрос, милорд, — сказал Дальгетти, — на который я отвечу, как подобает благородному воину, и притом *peremptorie*, как говорилось у нас в эбердинском духовном училище.

— Узнай, кто он и зачем он здесь, Нейл, — угрюмо произнес маркиз, — обращаясь к одному из дворян.

— Я избавлю почтенного джентльмена от труда наводить справки, — сказал посланец Монтроза. — Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкиста, бывший ритмейстер в различных войсках, а ныне майор какого-то там ирландского полка. Прибыл же я сюда в качестве парламентаря от имени высокородного и могущественного лорда, графа Джеймса Монтроза,

и от других знатных особ, поднявших оружие во славу его величества. Итак, да здравствует король Карл!

— Вы, очевидно, не знаете, где вы находитесь и какой опасности подвергаетесь, позволяя себе шутить с нами, — снова обратился к нему маркиз, — если так отвечаете мне, будто я малое дитя или глупец! Граф Монтроз заодно с английскими мятежниками; и я подозреваю, что вы один из тех ирландских бродяг, которые явились в нашу страну, чтобы огнем и мечом разорить ее, как это делалось и раньше под предводительством сэра Фелима О'Нейла.

— Милорд, — возразил капитан Дальгетти, — я отнюдь не бродяга, хоть и майор ирландского полка; это могут засвидетельствовать непобедимый Густав Адольф, этот Северный Лев, Банер, Оксенсьерн, доблестный герцог Саксен-Веймарский, Тилли, Валленштейн, Пикколомини и другие великие полководцы, как почившие, так и ныне здравствующие; а что касается благородного графа Монтроза, прошу вашу светлость прочесть вот эту верительную грамоту, дающую мне полномочия вести с вами переговоры от имени достопочтенного военачальника.

Маркиз мельком взглянул на документ за подписью и печатью Монтроза, который капитан Дальгетти вручил ему, и, с презрением бросив его на стол, обратился к окружающим с вопросом: чего заслуживает тот, кто открыто признает себя посланником и доверенным лицом низких предателей, поднявших оружие против государства?

— Высокой виселицы и короткой расправы, — таков был готовый ответ одного из придворных.

— Я попросил бы почтенного дворянина, только что высказавшего свое мнение, не слишком торопиться с заключениями, — сказал Дальгетти, — а вашу светлость — быть осмотрительнее при утверждении подобных приговоров, памятуя, что таковые могут быть вынесены лишь людям низших сословий, а не храбрым воинам, которые по долгу службы подвергают свою жизнь опасности при исполнении обязанностей парламентаря так же неизбежно, как во время осады, атаки и в битвах всякого рода. И хотя при мне нет ни трубача, ни белого флага, по той причине, что наша армия еще не имеет необходимого снаряжения, тем не менее почтенные дворяне и вы, ваша светлость, должны согласиться со мной, что неприкосновенность посла, явившегося для мирных переговоров, ограждается не трубным гласом, который есть лишь звук пустой, или белым флагом, который сам по себе не что иное, как старая тряпка, — а доверием посланного и самого посланного к чести тех, кому направлено послание, и убеждением, что в лице посла будут уважены как *jus gentium*, так и правила войны.

— Вы здесь не для того, чтобы учить нас правилам войны, — промолвил маркиз, — которые не могут и не должны быть применены к бунтовщикам и мятежникам, а для того, чтобы понести должное наказание за дерзость и глупость, побудившие вас доставить коварное послание верховному судье Шотландского королевства, который обязан за это преступление предать вас смертной казни.

— Господа, — обратился к окружающим капитан Дальгетти, которому весьма мало нравился такой оборот дела, — прошу вас не забывать, что вам придется отвечать жизнью и имуществом перед графом Монтрозом за малейший ущерб, нанесенный мне или моему коню вследствие такого неслыханного образа действий, и что он будет вправе отомстить вам, посягнув на вашу жизнь и на ваше имущество.

Эта угроза была встречена презрительным смехом, а один из Кэмбелов заметил: «Далеко отсюда до Лоху», что было излюбленной поговоркой их клана и означало, что их старинные наследственные владения недостижимы для вражеского нашествия.

— Однако, господа, — продолжал злополучный капитан, отнюдь не желавший быть



приговоренным без суда и следствия, — хоть и не мне решать, далеко ли отсюда до Лохоу, поскольку я чужой человек в этих краях, но, что гораздо ближе к делу, я надеюсь, вы примете во внимание, что за мою неприкосновенность ручался своим честным словом благородный дворянин вашего собственного клана — сэр Дункан Кэмбел Арденвор. И прошу вас не забывать, что, посягнув на мою неприкосновенность, вы тем самым покроете позором его честное и благородное имя!

Это заявление оказалось, по-видимому, совершенно неожиданным для большинства присутствующих, ибо они начали перешептываться между собой, а лицо маркиза, несмотря на его умение скрывать свои чувства, выразило нетерпение и досаду.

— Правда ли, что сэр Дункан Арденвор поручился своей честью за неприкосновенность этого человека, милорд? — спросил один из Кэмбелов, обращаясь к маркизу.

— Я этому не верю, — отвечал маркиз, — впрочем, я еще не успел прочесть его письмо.

— Мы просим вашу светлость сделать это, — заметил другой член клана Кэмбелов. — Наше доброе имя не должно быть запятнано из-за этого приятеля.

— Ложка дегтя может испортить бочку меда, — промолвил один из пасторов.

— Ваше преподобие, — обратился к нему капитан Дальгетти, — так как ваше замечание может послужить мне на пользу, я охотно прощаю вам ваше нелестное сравнение; я также охотно извиняю джентльмена в красной шапке, назвавшего меня приятелем, вероятно, с целью меня оскорбить. Я не позволил бы так величать себя, если бы неоднократно не слышал обращения «друг-приятель» от своих братьев по оружию — великого Густава Адольфа, этого Северного Льва, и других прославленных полководцев как в Германии, так и в Нидерландах. Что касается поручительства сэра Дункана Кэмбела, я готов прозакладывать свою голову, что он завтра же подтвердит мои слова, как только прибудет сюда.

— Если, в самом деле, ожидается скорое прибытие сэра Дункана, милорд, — сказал один из заступников капитана, — было бы жаль раньше времени предрешать судьбу этого бедняги.

— И, кроме того, — подхватил другой, — да простит мне ваша светлость мое почтительное вмешательство, — вам все же следовало бы ознакомиться с содержанием письма рыцаря Арденвора и узнать, на каких условиях он прислал сюда этого майора Дальгетти, как он себя именует.

Все столпились вокруг маркиза и вполголоса совещались между собой, то по-английски, то на гэльском языке. Патриархальная власть предводителей кланов была очень велика, а власть маркиза Аргайла, облеченного всеми наследственными правами блюстителя правосудия, была неограниченна. Но и в самом деспотическом правлении бывают сдерживающие обстоятельства того или иного порядка. Таким сдерживающим обстоятельством, полагающим предел произволу кельтских вождей, была необходимость ублажать своих родичей, которые командовали боевыми отрядами своих кланов во время войны и составляли нечто вроде родового совета в мирное время. Сейчас маркиз счел нужным прислушаться к доводам своего сената или, точнее, старейшин клана Кэмбелов и, выступив из окружавшей его толпы, отдал приказание отвести пленника в надежное место.

— Пленника?! — воскликнул Дальгетти, изо всех сил пытаясь отбиться от двух горцев, которые уже несколько минут как подошли к нему сзади вплотную и только ждали приказа, чтобы схватить его. Капитан действовал так энергично, что едва не очутился на свободе, и маркиз Аргайл, изменившись в лице, отступил на шаг и схватился за рукоятку своей шпаги, а несколько членов его клана самоотверженно бросились между ним и пленником, который мог на него напасть. Однако горцы оказались сильнее и, обезоружив несчастного капитана, поволокли его по длинным и мрачным переходам, пока не достигли низкой боковой двери,

окованной железом, за которой находилась вторая — деревянная. Старый угрюмый горец с длинной седой бородой отпер одну за другой обе двери, за которыми обнаружилась очень узкая и крутая лестница, ведущая вниз. Стража столкнула капитана с первых ступенек и, отпустив его, предоставила ему ощупью добираться вниз; это оказалось довольно трудной и даже опасной задачей; ибо, после того как обе двери захлопнулись, пленник остался в полной темноте.

## Глава 13

Кто б ни явился в этот храм,

Достоин сожаленья,

Когда, смирясь, не склонит там

Пред господом колени. Бернс, «Эпиграмма на посещение Инверэри»

Итак, оставшись в потемках и очутившись в довольно неопределенном положении, капитан Дальгетти со всеми возможными предосторожностями начал спускаться вниз, надеясь в конце лестницы найти место, где можно было бы отдохнуть. Но, несмотря на всю свою осмотрительность, он все-таки остутился и последние четыре-пять ступеней миновал столь стремительно, что едва удержался на ногах. А в конце лестницы он споткнулся о какой-то мягкий тюк, который при этом пошевелился и застонал, отчего капитан окончательно потерял равновесие; сделав еще несколько неверных шагов, он упал на четвереньки на каменный пол сырого подземелья.

Придя в себя, капитан Дальгетти прежде всего пожелал узнать, на кого он наткнулся.

— Еще месяц тому назад это был человек, — отвечал глухой, надтреснутый голос.

— А кто же он теперь, — спросил Дальгетти, — если считает приличным, свернувшись в клубок, укладываться на последней ступеньке лестницы, так что благородный воин, попавший в беду, рискует разбить себе нос по его милости?

— Кто он теперь? — отвечал тот же голос. — Теперь он жалкий ствол, у которого одну за другой обрубил все ветви и которому все равно, когда его самого вырвут с корнем и расколют на поленья для печки.

— Друг мой, — сказал Дальгетти, — мне жаль тебя, но расіencia! — как говорят испанцы. Однако, если бы ты не лежал здесь бревном, как ты себя величаешь, я не ободрал бы себе кожу на руках и коленях.

— Ты воин, — отвечал ему друг по несчастью, — а жалуешься на ушибы, о которых мальчишка не стал бы тужить!

— Воин? — повторил капитан. — А как ты узнал в этой чертовой темноте, что я воин?

— Я слышал звон твоих доспехов, когда ты падал, — отвечал узник, — а теперь вижу, как они блестят. Когда ты насидишься в темноте так долго, как я, глаза твои привыкнут различать самую маленькую ящерицу, ползающую по полу.

— Лучше бы уж черт их выколол! — воскликнул Дальгетти. — Коли на то пошло, я предпочел бы веревку на шею, краткую солдатскую молитву и прыжок с лестницы. Однако скажи мне, собрат по несчастью, каков здесь провиант? Чем тебя тут кормят?

— Хлеб да вода один раз в день, — отвечал голос.

— Сделай милость, дружище, дай мне отведать твоего хлеба, — сказал Дальгетти. — Надеюсь, мы будем добрыми друзьями, сидя вместе в этой отвратительной дыре.

— Хлеб и кувшин с водой там в углу, — отвечал узник, — направо, в двух шагах от тебя. Возьми и ешь на здоровье. Мне земная пища уже не нужна.

Не дожидаясь вторичного приглашения, Дальгетти ощупью нашел провизию и принялся жевать черствую овсяную лепешку с не меньшим, аппетитом, чем, как нам известно, он уплетал самые изысканные блюда.

— Этот хлеб, — бормотал он с набитым ртом, — не слишком вкусен; впрочем, он лишь немногим хуже того, который мы ели во время знаменитой осады Вербена, когда доблестный Густав Адольф расстроил все замыслы славного Тилли, этого грозного, закаленного в боях старца, прогнавшего с поля сражения двух королей, а именно — Фердинанда Богемского и Христиана Датского. А что касается воды, то хоть она и не отличается свежестью, я все же выпью за твое быстрое освобождение, дружище, не забывая и о своем собственном, и искренне сожалею о том, что это не рейнское вино или не пенистое любекское пиво, что более пристало бы для подобного тоста.

Болтая таким образом, Дальгетти в то же время усердно работал челюстями и быстро уничтожил провизию, которую великодушие или, вернее, равнодушие его товарища по несчастью предоставило его ненасытному желудку. Покончив с этим, капитан завернулся в свой плащ и, усевшись в углу подземелья, где он мог одновременно прислониться к двум стенкам (ибо, не преминул он заметить, с юных лет имел пристрастие к удобным креслам), принялся расспрашивать своего сотоварища по заключению.

— Почтенный друг мой, — начал капитан, — так как мы с тобою сейчас сожители, то нужно нам поближе познакомиться. Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкиста и прочая; служу в чине майора в полку верноподданных ирландцев и являюсь чрезвычайным послом высокородного и могущественного лорда, графа Джеймса Монтроза. Прошу тебя теперь назвать свое имя.

— Тебе от этого не станет легче, — отвечал его менее говорливый собеседник.

— Предоставь мне самому судить об этом, — возразил капитан.

— Ну так знай: меня зовут Раналд Мак-Иф, что значит: Раналд Сын Тумана.

— Сын Тумана! — воскликнул Дальгетти. — Я бы сказал — сын непроглядного мрака. Ну, Раналд, — коли таково твое имя, — как же ты попал в лапы правосудия? Проще говоря, какой черт тебя сюда занес?

— Мои несчастья и мои преступления, — отвечал Раналд. — Знаешь ли ты рыцаря Арденвора?

— Знаю этого почтенного мужа, — сказал Дальгетти.

— А не знаешь ли ты, где он сейчас? — спросил Раналд.

— Сегодня он постится в Арденворе, — отвечал чрезвычайный посол, — чтобы иметь возможность пировать завтра в Инверэри. Если же он почему-либо не осуществит своего

намерения, мое дальнейшее пребывание на земле станет несколько сомнительным.

— Так передай ему, что его злейший враг и в то же время его лучший друг просит его заступничества, — промолвил Раналд.

— Откровенно говоря, я желал бы передать ему менее двусмысленную просьбу, — возразил Дальгетти. — Сэр Дункан не большой любитель разгадывать загадки.

— Трусливый сакс! — воскликнул узник. — Скажи ему, что я тот ворон, который пятнадцать лет тому назад налетел на его укрепленное гнездо и растерзал его потомство... Я тот охотник, который отыскал волчье логово на скале и задушил всех волчат... Я предводитель той шайки, которая, день в день, ровно пятнадцать лет тому назад напала врасплох на его замок Арденвор и предала мечу четверых его детей.

— Поистине, мой почтенный друг, коли таковы твои заслуги, которыми ты думаешь снискать милость сэра Дункана, то я предпочел бы умолчать о них, ибо я имел случаи наблюдать, что даже неразумные твари питают злобу к тем, кто причиняет вред их детенышам, — а тем более человек и христианин никогда не простит насилия, совершенного над членами его семейства! Но будь так любезен, скажи мне, с какой стороны ты произвел нападение на замок? Уж не с того ли холма, называемого Драмснэб, который я считаю самым подходящим местом для атаки, если он не будет защищен возведенным на нем фортом?

— Мы влезли на скалу по лестницам, сплетенным из ивовых ветвей и молодых побегов, — сказал узник, — которые спустил нам наш сообщник, член нашего клана: полгода прослужил он в замке для того, чтобы в ту ночь упиться сладостью мщения. Сова ухала над нами, пока мы висели между небом и землей; морской прибой бушевал у подножия скалы, разбив в щепы наш челн; но ни один из нас не дрогнул. Наутро лишь кровь и пепел остались там, где еще накануне царили мир и довольство.

— Славная ночная атака, что и говорить, Раналд Мак-Иф! Хорошо задумано и достойным образом выполнено... Тем не менее, я начал бы натиск со стороны небольшого возвышения под названием Драмснэб. Но ведь вы ведете беспорядочную войну, на скифский лад, дружище Раналд; вы воюете примерно как турки, татары и другие азиатские народы. А какова же причина, каков был повод к этой войне, так сказать *teterrima causa*? Объясни мне, пожалуйста, Раналд.

— Род Мак-Олей и другие западные кланы так сильно притесняли нас, что нам стало небезопасно оставаться на своих землях.

— Ага! — заметил Дальгетти. — Я уже как будто кое-что слышал об этих делах. Не вы ли воткнули хлеб с сыром в рот человеку, у которого уже не было желудка, чтобы его переварить?

— Значит, ты слышал о том, как мы отомстили надменному лесничему?

— Помнится, что-то слышал, — отвечал Дальгетти, — и притом совсем недавно. Веселая это была шутка — набить хлебом рот покойнику, но, пожалуй, уж слишком грубая и дикая, по понятиям цивилизованных людей, не говоря уж о бесполезном расходовании съестных припасов. Не раз случалось мне видеть, друг Раналд, как во время осады или блокады живой солдат был бы счастлив получить ту корку хлеба, которую ты, Раналд, потратил зря, всунув ее в зубы мертвецу.

— Сэр Дункан напал на нас, — продолжал Мак-Иф. — Брат мой был убит, его голова торчала на зубчатой стене, через которую мы лезли... Я поклялся отомстить, а такой клятвы я еще никогда не нарушал.

— Так-то оно так, — отвечал Дальгетти, — и каждый истый воин согласится с тобой, что нет ничего слаще мщения; но мне что-то невдомек: каким образом вся эта история может побудить сэра Дункана вступить за тебя? Разве что он попросит маркиза изменить способ твоей казни: не просто повесить тебя, подтянув за шею, а сначала колесовать и переломать тебе кости лемехом плуга или умертвить при помощи какой-нибудь еще более жестокой пытки. Был бы я на твоём месте, Раналд, я бы не напоминал о себе сэру Дункану и, сохранив про себя свою тайну, попросту дал бы вздернуть себя, как это делали твои предки.

— Выслушай меня, чужестранец! — сказал горец. — У сэра Дункана, рыцаря Арденворского, было четверо детей. Трое из них погибли под ударами наших кинжалов, но четвертый остался жив. И дорого бы дал старик, чтобы покачать на коленях это оставшееся в живых дитя, вместо того чтобы ломать мои старые кости, которым все равно, как он утолит свою жажду мщения. Одно только слово, — если бы я захотел произнести его, — превратило бы день скорби и поста в радостный день благодарения богу и преломления хлеба. О, я по себе это знаю! Стократ дороже мне мой Кеннет, который гоняется за бабочками на берегах Овена, нежели все десять моих сыновей, лежащие в сырой земле или питающие своими трупами хищных птиц.

— Я полагаю, Раналд, — заметил Дальгетти, — что те трое молодцов, которых я видел на базарной площади подвешенными за шею, наподобие вяленой трески, до некоторой степени знакомы тебе?

Последовало короткое молчание, прежде чем горец произнес в сильном волнении:

— То были мои сыновья, чужестранец, мои сыновья! Кровь от крови моей, кость от кости моей! Быстроногие, бьющие без промаха, непобедимые, пока Сыны Диармида не одолели их численностью! И зачем я стремлюсь пережить их? Старому стволу легче, когда выкорчевывают его корни, нежели когда падают обрубленные нежные ветви. Но Кеннет должен быть возвращен для мщения... Старый орел должен научить орленка когтить своего врага. Ради него я готов выкупить свою жизнь и свободу, открыв мою тайну рыцарю Арденвору.

— Тебе легче будет этого достигнуть, — произнес третий голос, вмешиваясь в разговор, — если ты доверишь свою тайну мне.

Все горцы суеверны.

— Враг рода человеческого среди нас! — воскликнул Раналд Мак-Иф, вскакивая на ноги. Цепи загремели при его попытке отступить как можно дальше от того места, откуда раздался голос.

Страх его до некоторой степени передался капитану Дальгетти, который принялся повторять разноязычный запас заклинаний, когда-либо им слышанных, причем помнил он не более одного-двух слов из каждого.

— *In nomine domini!* — как говорилось у нас в училище, *Santisima madre de Dios!* — как это там у испанцев... *Alle guten Geister loben den Herrn!* — сказано у святого псалмопевца, в переводе доктора Лютера.

— Полно вам причитать, — произнес тот же голос. — Хоть я и появился здесь несколько необычным образом, однако я такой же смертный, как и вы, и появление мое может быть для вас весьма полезным в вашем теперешнем положении, если вы не погнушаетесь выслушать мой совет.

При этих словах незнакомец слегка приоткрыл свой фонарь, и при слабом его свете капитану Дальгетти с трудом удалось рассмотреть, что собеседник, так таинственно

присоединившийся к ним и вмешавшийся в их разговор, — человек высокого роста, в ливрейном плаще слугителей маркиза. Прежде всего капитан взглянул на его ноги, но не увидел ни раздвоенного копыта, которое шотландские легенды приписывают черту, ни лошадиной подковы, по которой черта узнают в Германии. Несколько успокоившись, капитан спросил незнакомца, как он попал к ним.

— Ибо, — добавил он, — если бы вы воспользовались дверью, мы услышали бы скрип ржавых петель, а ежели вы пролезли сквозь замочную скважину, то, кем бы вы ни прикидывались, сэр, поистине вас невозможно причислить к полку живых.

— Это моя тайна, — отвечал незнакомец, — и я не раскрою ее вам, пока вы этого не заслужите, сообщив мне в обмен ваши тайны. Тогда, может быть, я сжалюсь над вами и выведу вас тем же путем, каким сам проник сюда.

— В таком случае это будет, конечно, не замочная скважина, — сказал капитан Дальгетти, — ибо мой панцирь застрял бы в ней, даже если предположить, что пролез бы шлем. Что касается тайны, то у меня лично нет никакой, да и чужих немного. Но поведайте нам, какие тайны хотелось бы вам услышать от нас, или, как обычно говорил профессор Снафлгрик в эбердинском духовном училище: «Выскажись, дабы я познал тебя».

— До вас еще не дошла очередь, — отвечал незнакомец, наводя фонарь на изможденное, угрюмое лицо и высохшую фигуру старого горца, который, прижавшись к дальней стене подземелья, как будто все еще сомневался, точно ли перед ним живое существо.

— Я кое-что принес вам, друзья, — произнес незнакомец уже более дружелюбным тоном, — чтобы вы могли подкрепиться; если вам предстоит умереть завтра, это еще не причина, чтобы уже не жить сегодня вечером.

— Конечно, конечно, не причина! — подхватил капитан Дальгетти, немедленно принимаясь извлекать содержимое небольшой корзинки, которую незнакомец принес под своим плащом, в то время как горец, то ли от недоверия, то ли от гордости, не обратил никакого внимания на лакомые куски.

— За твое здоровье, дружище — провозгласил капитан, успевший покончить с огромным куском жареной козлятины и принявшийся теперь за флягу с вином — А как твое имя, любезный?

— Мардох Кэмбел, сэр, — отвечал слуга. — Я лакей маркиза, а при случае исполняю обязанности помощника дворецкого.

— Ну так еще раз — за твое здоровье, Мардох! — сказал Дальгетти. — Именной тост в твою честь принесет тебе счастье! Если не ошибаюсь, это винцо — калькавелла? Итак, почтеннейший Мардох, беру на себя смелость заявить, что ты заслуживаешь быть старшим дворецким, ибо ты выказал себя в двадцать раз более опытным, нежели твой хозяин, по части снабжения продовольствием честных джентльменов, попавших в беду. На хлеб и на воду — вот еще что выдумал! Этого было бы вполне достаточно, Мардох, чтобы пустить дурную славу о подземельях господина маркиза. Но я вижу, тебе хочется побеседовать с моим другом Раналдом Мак-Ифом. Не обращай на меня внимания — я удалюсь в уголок, забрав с собой эту корзиночку, и ручаюсь, мои челюсти будут так громко работать, что мои уши ничего не услышат.

Несмотря на такое обещание, храбрый воин, однако, постарался не пропустить ни слова из этой беседы, то есть, по его собственному выражению, он «насторожил уши, как Густав, когда тот слышит звук открываемого закрома с овсом». Благодаря тесноте подземелья ему удалось подслушать следующий разговор.

— Известно ли тебе. Сын Тумана, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы быть повешенным? — спросил Кэмбел.

— Те, кто мне всего дороже, уже совершили этот путь раньше меня, — отвечал Мак-Иф.

— Так, значит, ты ничего не хочешь сделать для того, чтобы избежать этого пути? — продолжал спрашивать посетитель.

Узник долго гремел своими цепями, прежде чем ответить на этот вопрос.

— Много готов я сделать, — промолвил он наконец, — но не ради спасения моей жизни, а ради того, кто остался в долине Стратхэвен — А что же бы ты сделал, чтобы отвратить от себя сей страшный час? — снова спросил Мардох. — Мне все равно, по какой причине ты желал бы его избежать.

— Я сделал бы все, что может сделать человек, сохранив свое человеческое достоинство.

— Ты еще считаешь себя человеком, — сказал Мардох, — ты, совершавший деяния хищного волка?

— Да, — отвечал разбойник, — я такой же человек, какими были мои предки. Живя под покровом мира, мы были кротки, как агнцы; но вы сорвали этот покров и теперь называете нас волками? Верните нам наши хижины, сожженные вами, наших детей, умерщвленных вами, наших вдов, которых вы уморили голодом; соберите с виселиц и с шестов изуродованные трупы и побелевшие черепа наших родичей, верните их к жизни, дабы они могли благословить нас, — тогда, и только тогда, мы станем вашими вассалами и вашими братьями. А пока этого нет — пусть смерть, и кровь, и обоюдная вражда воздвигнут черную стену раздора между нами!..

— Итак, ты ничего не хочешь сделать, чтобы получить свободу? — повторил свой вопрос Мардох.

— Готов пойти на все, но никогда не назовусь другом вашего племени! — отвечал Мак-Иф.

— Мы гнушаемся дружбой грабителей и разбойников, — возразил Мардох, — и не унизились бы до нее. В обмен на твою свободу я требую от тебя одного: скажи, где дочь и наследница рыцаря Арденвора?

— Чтобы вы, по обычаю Сынов Диармида, обвенчали ее с каким-нибудь нищим родичем вашего господина? — промолвил Раналд. — Разве долина Гленорки до сего часа не взывает о мщении за насилие, совершенное над беззащитной девушкой, которую ее родные сопровождали ко двору государя? Разве ее провожатые не были вынуждены спрятать ее под котел, вокруг которого они сражались, пока все до одного не полегли на месте? И разве девушка не была доставлена в этот злосчастный замок и выдана замуж за брата Мак-Каллумора? И все это только из-за ее богатого наследства!

— Пусть это правда, — сказал Мардох. — Она заняла положение, которого сам король Шотландии не мог бы предоставить ей. Впрочем, это к делу не относится. Дочь сэра Дункана Арденвора — нашего рода, она не чужая нам; и кто, как не Мак-Каллумор, предводитель нашего клана, имеет право узнать о ее судьбе?

— Так ты от его имени вопрошаешь меня об этом? — спросил разбойник.

Слуга маркиза отвечал утвердительно.

— И вы не причините никакого зла этой девушке? Она и так уже достаточно пострадала по моей вине.

— Никакого зла, даю тебе слово христианина, — отвечал Мардох.

— Ив награду мне будет дарована жизнь и свобода? — спросил Сын Тумана.

— Таково наше условие.

— Так знай же, что девочка, которую я спас из жалости во время набега на укрепленный замок ее отца, воспитывалась у нас, как приемная дочь нашего племени, пока на нас не напал в ущелье Боллендатхил, этот дьявол во образе человека, наш заклятый враг Аллан Мак-Олей, по прозвищу Кровавая Рука, вместе с леннокской конницей под предводительством наследника Ментейтов.

— Так, значит, она очутилась во власти Аллана Кровавой Руки, — промолвил Мардох, — она, считавшаяся дочерью твоего племени? Тогда, без сомнения, его кинжал обагрился ее кровью, и ты не сообщил мне ничего такого, что могло бы спасти твою жизнь.

— Если моя жизнь зависит только от ее жизни, — отвечал разбойник, — то я спасен, ибо она жива. Но мне грозит другая опасность — вероломство Сына Диармида.

— Это обещание не будет нарушено, — сказал Кэмбел, — если ты можешь поклясться, что она жива, и укажешь мне, где она находится.

— В замке Дарнлинварах, — отвечал Раналд Мак-Иф, — под именем Эннот Лайл. Я не слышал о ней от моих родичей, которые вновь посещают свои родные леса, и еще совсем недавно я видел ее своими собственными старыми глазами.

— Ты? — воскликнул Мардох в изумлении. — Как же ты, предводитель Сынов Тумана, решился приблизиться к дому твоего заклятого врага?

— Так знай же, Сын Диармида, — отвечал разбойник, — я сделал больше того — я был в зале замка, переодетый арфистом с пустынных берегов Скианахского озера. Я пришел туда с намерением вонзить кинжал в сердце Аллана Кровавой Руки, пред которым трепещет наше племя; а потом я предал бы себя в руки божий. Но я увидел Эннот Лайл в ту самую минуту, когда я уже схватился за кинжал. Она тронула струны арфы и запела одну из песен Сынов Тумана, которой выучилась, живя у нас. В этой песне я услышал шум наших зеленых дубрав, где в старину нам так привольно жилось, и журчание ручейков, светлые воды которых некогда радовали нас. Рука моя замерла на рукоятке кинжала, глаза увлажнились слезами — и час жестокого мщения миновал. А теперь, Сын Диармида, скажи мне — разве я не уплатил выкупа за свою голову?

— Да, если только ты говоришь правду, — отвечал Мардох. — Но какие доказательства можешь ты привести?

— Да будут небо и земля свидетелями, — воскликнул разбойник, — он уже измышляет способ, как бы нарушить свое слово!

— Нет, — возразил Мардох, — все обещания будут выполнены, когда я буду уверен в том, что ты сказал мне правду... А сейчас мне нужно сказать еще несколько слов другому пленнику.

— Всегда и всюду — мягко стелют, да жестко спать, — проворчал узник, снова бросившись ничком на пол подземелья.

Между тем капитан Дальгетти, не проронивший ни одного слова во время этого разговора, делал про себя следующие замечания:

«Что нужно от меня этому хитрецу? У меня нет детей — ни своих, насколько мне известно, ни



чужих, о которых я мог бы ему рассказывать сказки. Но пусть спрашивает — придется ему порядком попрыгать, прежде чем удастся зайти во фланг старому вояке».

И, словно солдат, готовящийся с пикой в руках защищать брешь в стене крепости, капитан весь подобрался в ожидании нападения — настороженно, но без страха.

— Вы гражданин мира, капитан Дальгетти, — начал Мардох Кэмбел, — и не можете не знать нашей старой шотландской поговорки: «Gifgaf», которая к тому же существует у всех народов и во всех армиях.

— В таком случае я ее, наверно, слышал, — отвечал Дальгетти, — ибо, за исключением турок, почти нет такого монарха в Европе, в войсках которого я бы не служил; я даже подумывал было, не поступить ли мне к Бетлену Габору или к янычарам.

— Как человек опытный и без предрассудков, вы, конечно, сразу меня поймете, — продолжал Мардох, — если я вам скажу, что ваше освобождение будет зависеть от вашего прямого и честного ответа на некоторые пустяковые вопросы, касающиеся благородных лордов, с которыми вы недавно расстались: в каком состоянии их армия? Какова численность их войск и род оружия? И что вам известно о плане предстоящей кампании?

— Только для того, чтобы удовлетворить твое любопытство? — спросил Дальгетти. — И без каких-либо иных целей?

— Без малейших! — отвечал Мардох. — Что нужды такому бедняге, как я, знать о планах их похода?

— Ну, так задавай вопросы, — сказал Дальгетти, — и я буду отвечать на них *peremptorie*.

— Много ли ирландцев идет на соединение с мятежником Монтрозом?

— Вероятно, тысяч десять, — отвечал капитан Дальгетти.

— Десять тысяч! — в сердцах воскликнул Мардох. — Нам известно, что в Арднамурхане высадилось не более двух тысяч.

— Стало быть, ты знаешь больше меня, — невозмутимо отвечал капитан Дальгетти, — а я еще не видал их в строю или хотя бы с оружием в руках.

— А сколько людей думают выставить кланы? — спросил Мардох.

— Сколько удастся собрать, — отвечал капитан.

— Вы, сударь, не отвечаете на мой вопрос, — заметил Мардох. — Говорите прямо — тысяч пять будет?

— Вероятно, что-нибудь в этом роде, — отвечал Дальгетти.

— Вы играете своей жизнью, сэр, если вздумали шутить со мной, — сказал Мардох. — Стоит мне свистнуть, и через десять минут ваша голова будет болтаться на подъемном мосту.

— Но скажите по чести, мистер Мардох, — заметил капитан, — разумно ли с вашей стороны расспрашивать меня о военных тайнах нашей армии, с которой я подрядился проделать весь поход? Если я научу вас, как разбить Монтроза, что станется с моим жалованьем, наградами и моей долей добычи?

— А я повторяю вам, — отвечал Кэмбел, — что если вы будете упрямитесь, то ваш поход начнется и кончится шествием на плаху, воздвигнутую у ворот замка нарочно для таких

проходимцев, как вы. Если же вы будете честно отвечать на мои вопросы, я готов принять вас к себе.., то есть к Мак-Каллумору на службу.

— А хорошо ли он платит? — спросил капитан Дальгетти.

— Он удвоит ваше жалованье, если вы согласитесь вернуться к Монтрозу и действовать там по его указаниям.

— Жаль, что я не познакомился с вами, сэр, прежде, чем договорился с ним, — произнес Дальгетти как бы в некотором раздумье.

— Напротив, теперь-то я и могу предложить вам более выгодные условия, — сказал Кэмбел, — конечно, если вы будете верным слугой.

— Верным слугою вам — значит изменником Монтрозу, — отвечал капитан.

— Верным слугою религии и порядка, — возразил Мардох, — а это оправдывает любой обман, к которому приходится прибегать.

— А что маркиз Аргайл, — я спрашиваю на тот случай, если бы вздумал перейти к нему на службу, — добрый ли он начальник? — спросил Дальгетти.

— Как нельзя добрее, — промолвил Кэмбел.

— И щедрый для своих офицеров? — продолжал капитан.

— Щедрее его нет человека в Шотландии, — отвечал Мардох.

— Честен и благороден в исполнении принятых на себя обязательств? — продолжал Дальгетти.

— Самый честный дворянин, какой только существует на свете! — заявил Мардох.

— Никогда еще не приходилось мне слышать о нем так много лестного, — заметил Дальгетти. — Вы, вероятно, с ним близко знакомы или, быть может, вы и есть маркиз? Лорд Аргайл, — внезапно воскликнул капитан, бросаясь на переодетого вельможу, — именем короля Карла, вы арестованы, как изменник! Если вы попытаетесь звать на помощь — я сверну вам шею!

Нападение капитана на маркиза было столь внезапно и неожиданно, что капитану удалось в один миг повалить его; одной рукой Дальгетти плотно прижал маркиза к полу подземелья, а другой схватил за горло, готовый задушить его при малейшей попытке позвать на помощь.

— Лорд Аргайл, — сказал капитан Дальгетти, — теперь моя очередь ставить условия капитуляции. Если вам будет угодно показать мне потайной ход, через который вы проникли сюда, я вас отпущу, при условии, что вы останетесь моим *locum tenens* — как говорилось у нас в эбердинском училище, — пока ваш тюремщик не придет проведать своих узников. Если нет — я сначала задушю вас, — меня этому искусству научил один польский гайдук, бывший когда-то невольником в турецком серале, — а затем постараюсь найти способ выбраться отсюда.

— Негодяй! Не за мою ли доброту ты хочешь умертвить меня? — прохрипел Аргайл.

— Нет, не за вашу доброту, милорд, — отвечал Дальгетти, — но, во-первых, чтобы научить вашу светлость обращению с дворянином, который явился к вам, имея охранную грамоту, а во-вторых, чтобы предостеречь вас от опасности делать неблагоприятные предложения честному воину, в целях соблазнить его и подбить на то, чтобы до истечения срока изменить

тому знамени, которому он в данное время служит.

— Пощади мою жизнь, — молвил Аргайл, — и я сделаю все, что ты хочешь.

Дальгетти, однако, продолжал держать маркиза за горло, слегка сжимая пальцы, когда задавал вопрос, а потом отпуская их настолько, чтобы дать маркизу возможность ответить.

— Где находится потайная дверь? — спросил капитан.

— Подними фонарь, освети угол справа от себя — и ты увидишь железный щиток, прикрывающий пружину, — отвечал маркиз.

— Отлично. А куда ведет этот ход?

— В мой кабинет, где дверь скрыта гобеленом, — отвечал распростертый на полу вельможа.

— А как оттуда добраться до ворот?

— Через парадный зал, прихожую, лакейскую, кордегардию...

— И всюду полным-полно солдат, слуг и домочадцев? Нет, милорд, на это я не согласен. Разве у вас не имеется такого же потайного выхода к воротам, как сюда, в подземелье? Я видел таковые в Германии.

— Есть ход через часовню, — произнес маркиз, — прямо из моего кабинета.

— А какой нынче пароль для часовых?

— «Меч левита», — отвечал маркиз. — Но если ты согласишься моему честному слову, я пойду с тобой, проведу мимо часовых и дам тебе полную свободу, снабдив пропуском.

— Я еще мог бы поверить вам, милорд, если бы ваша шея не почернела от моих пальцев, а при таких обстоятельствах — *beso las manos a usted*, как говорят испанцы. Впрочем, пропуском вы можете меня снабдить. В вашем кабинете, вероятно, имеются письменные принадлежности?

— Конечно; и бланки для пропуска, которые остается только подписать. Я немедленно все для тебя сделаю, — сказал маркиз. — Идем!

— Слишком много чести для меня, — возразил Дальгетти. — Пусть уж лучше ваша светлость останется здесь под охраной моего почтенного приятеля Раналда Мак-Ифа; поэтому прошу вас, позвольте мне подтащить вас поближе к его цепям. Почтеннейший Раналд, ты сам видишь, как обстоят дела. Не сомневаюсь, что мне удастся выпустить тебя на свободу, А пока — делай так же, как я: возьми высокородного и могущественного вельможу за глотку, запустив руку под воротник, — вот так; а если он вздумает сопротивляться или кричать — не стесняйся, друг мой Раналд, нажимай крепче; если же дело дойдет до *ad deliquium*, Раналд, то есть если он потеряет сознание, — то это не беда, принимая во внимание, что он и твою и мою глотку предназначил для более жестокой участи.

— Если он заговорит или начнет отбиваться, — сказал Раналд, — он умрет от моей руки.

— Правильно, Раналд, хорошо сказано! Догадливый приятель, понимающий тебя с полуслова, дороже золота.

Оставив, таким образом, маркиза на попечении своего нового союзника, Дальгетти нажал пружину, и потайная дверь немедленно распахнулась без малейшего шума — так хорошо были пригнаны и смазаны ее петли. Обратная сторона двери была снабжена весьма

крепкими болтами и засовами, около которых висело несколько ключей, предназначенных, вероятно, для того, чтобы отмыкать замки на кандалах. Узкая лестница, поднимавшаяся в толще стены замка, кончалась, как и говорил маркиз, у двери его кабинета, замаскированной коврами. Подобные тайные ходы не были редкостью в старинных феодальных замках; они давали возможность владельцу крепости, как некогда Дионисию Сиракузскому, подслушивать разговоры своих пленников или, при желании, переодевшись, навещать их, как это имело место в настоящем случае, столь неудачно закончившемся для маркиза.

Предварительно просунув голову в дверь, чтобы убедиться, что путь свободен, капитан вошел в кабинет, поспешно взял один из лежавших на столе бланков, перо и чернильницу, мимоходом прихватил кинжал маркиза и шелковый шнур от портъеры и снова спустился по лестнице в подземелье. Прислушавшись у дверей темницы, он различил сдавленный голос маркиза, делавшего заманчивые предложения Раналду, в надежде получить от него разрешение поднять тревогу.

— Ни за целый лес с оленями, ни за тысячу голов скота, — отвечал разбойник, — ни за все уголья, когда-либо принадлежавшие Сынам Диармида, не нарушу я слова, которое дал закованному в железо.

— Закованный в железо, — проговорил Дальгетти, входя, — премного тебе благодарен, Мак-Иф. А этот благородный лорд сейчас будет связан; но сначала мы заставим его подписать пропуск на имя майора Дугалда Дальгетти и его проводника — если он не хочет сам получить пропуск на тот свет.

При тусклом свете фонаря маркиз заполнил пропуск и скрепил его своей подписью, как ему указал капитан.

— А теперь, друг мой, — сказал Дальгетти, — скинь свою верхнюю одежду, то есть дай-ка сюда твой плед, Раналд. Я хочу завернуть в него Мак-Каллумора и превратить его на время в одного из Сынов Тумана. Нет, уж позвольте мне завернуть вас с головой, милорд, чтобы предотвратить возможность ваших неуместных криков... Вот так! Теперь он укутан на славу... Руки прочь, или, ей-богу, я всажу вам в сердце ваш же собственный кинжал! Вы будете связаны не более, не менее, как шелковым шнуром, милорд, как подобает вашему высокому званию!.. Ну, теперь он спокойно может лежать так, пока кто-нибудь не придет освободить его. Если он приказал подать нам поздний обед, Раналд, он же сам от этого пострадает... В котором часу, дружище Раналд, приходит обычно тюремщик?

— Не раньше, чем солнце склоняется к закату, — отвечал Мак-Иф.

— Итак, в нашем распоряжении целых три часа, — заметил предусмотрительный капитан. — Теперь приступим к твоему освобождению.

Прежде всего понадобилось осмотреть цепи, которыми был прикован Раналд. Их удалось отомкнуть одним из ключей, висевших за потайной дверью; вероятно, их вешали здесь на тот случай, если бы маркизу вздумалось лично, без помощи тюремщика, отпустить заключенного или перевести его в другое место. Разбойник потянулся, расправил онемевшие руки и вскочил на ноги, счастливый вновь обретенной свободой.

— Возьми ливрейный плащ этого благородного узника, — приказал капитан Дальгетти, — надень его и следуй за мной.

Разбойник повиновался. Они поднялись по потайной лестнице, предварительно заперев за собой дверь в подземелье, и благополучно добрались до кабинета маркиза.

Таков был вход и лестница...

Куда же дальше?

Но кто уверен, что умрет на суше,

Пренебрегает компасом и картой,

Без штурмана вверяясь океану. «Бренновальтская трагедия»

— Поищи потайной выход через часовню, Раналд, — сказал капитан, — а я должен здесь посмотреть кое-что.

С этими словами он одной рукой схватил пачку самых секретных документов Аргайла, а другой — кошелек с золотом, лежавший вместе с бумагами в ящике массивного бюро, дверцы которого были гостеприимно растворены. Капитан не преминул воспользоваться и шпагой, и пистолетами с пороховницами и пулями, висевшими тут же на стене.

— Разведка и военная добыча, — сказал Дальгетти, засовывая в карманы захваченное добро. — Каждый честный воин должен позаботиться о первой — для своего начальника, о второй — для самого себя. Это шпага работы Андреа Феррара, а пистолеты, пожалуй, лучше моих. Но честный обмен — не есть грабеж. Нельзя безнаказанно подвергать опасности воина, да еще совершенно безосновательно, милорд! Легче, легче, Раналд. Куда это ты собрался, мудрый Сын Тумана?

Было самое время приостановить решительные действия Мак-Ифа, ибо, не найдя достаточно быстро потайного хода и потеряв, по-видимому, всякое терпение, он сорвал со стены меч и щит и собрался идти прямо в парадный зал, с явным намерением так или иначе пробить себе дорогу сквозь все препятствия.

— Стой, пока жив! — шепнул ему на ухо Дальгетти, схватив его за плечо. — Нам нужно постараться не выдать себя. Прежде всего запрем эту дверь — как будто Мак-Каллумор пожелал уединиться в своем кабинете, — а затем я сам произведу рекогносцировку и отыщу потайной ход.

Заглядывая за висевшие на стенах ковры, капитан в конце концов обнаружил потайную дверь, а за ней коридор, после нескольких поворотов упирившийся в другую дверь, которая, несомненно, вела в часовню. Но каково было изумление и неудовольствие капитана Дальгетти, когда по ту сторону двери он ясно услышал зычный голос пастора, произносившего проповедь.

— Так вот что заставило этого негодяя указать нам именно этот путь! — сказал капитан. — Не мешало бы вернуться и перерезать ему глотку.

Все же он тихонько отворил дверь, выходящую на маленькую галерею с высокой решеткой, которой, по-видимому, пользовался только сам маркиз; все занавеси были плотно задернуты — вероятно, для того, чтобы все думали, будто маркиз усердно молится, в то время как он занимался своими мирскими делами. В галерее никого не было, ибо по обычаю, существовавшему в знатных домах того времени, все семейство маркиза занимало другую галерею, несколько ниже той, которая предназначалась для владельца замка. Обследовав все это, капитан Дальгетти решил притаиться здесь, тщательно заперев за собой дверь.

Никогда еще — хотя, может быть, это и очень дерзкое предположение — проповедь не была выслушана с большим нетерпением и меньшим благочестием, чем на сей раз, — по крайней мере одним из присутствующих. С чувством, близким к отчаянию, капитан вынужден был слушать все эти «в шестнадцатых, в семнадцатых, в восемнадцатых» и «в заключение». Но даже поучение нельзя читать до бесконечности (ибо эти проповеди назывались поучениями), и пастор наконец умолк, не преминув отвесить глубокий поклон в сторону верхней галереи, отнюдь не подозревая, кого он почтительно приветствует. Судя по той поспешности, с какой все стали расходиться, домочадцы маркиза едва ли получили большее удовольствие от богослужения, нежели сгоравший от нетерпения капитан Дальгетти. Правда, большинство молящихся составляли горцы, не понимавшие ни единого слова из проповеди пастора; но, по особому приказанию Мак-Каллумора, все без исключения обитатели замка обязаны были присутствовать на богослужении и беспрекословно выполнили бы это приказание, даже если бы проповедником оказался турецкий имам.

Однако, после того как часовня мгновенно опустела, пастор еще долго расхаживал взад и вперед по готическим приделам, не то размышляя о только что произнесенной проповеди, не то обдумывая новое поучение для следующего раза. Как ни был отважен Дальгетти, он не мог сразу решить, что ему делать. Но время шло, и с каждой минутой увеличивалась опасность, что их бегство будет обнаружено тюремщиком, если ему вздумается посетить подземелье раньше обычного. В конце концов он шепотом приказал Раналду, следившему за каждым его движением, идти следом за ним, сохраняя полное спокойствие, и с непринужденным видом спустился по лестнице, которая вела из галереи в часовню. Человек менее опытный, чем Дальгетти, попытался бы проскользнуть мимо достопочтенного пастора, в надежде, что тот его не заметит. Но капитан, предвидевший всю опасность в случае провала такой попытки, не спеша пошел прямо навстречу священнику и, обнажив голову, намеревался с почтительным поклоном пройти мимо. Каково же было его удивление, когда, взглянув на проповедника, он узнал того самого духовника, с которым накануне обедал в замке Арденвор! Но он тут же нашелся и, прежде чем пастор успел открыть рот, обратился к нему первый.

— Я не мог, — сказал он, — покинуть этот дом, не высказав вам, ваше преподобие, мою смиренную благодарность за проповедь, которой вы сегодня осчастливили нас.

— Я не заметил вас в церкви, сэр, — возразил пастор.

— Его светлости маркизу было угодно почтить меня местом в его личной галерее, — скромно молвил Далайетти.

Священник почтительно склонил голову, зная, что подобной чести удостоиваются только лица очень высокого звания.

— За время моей скитальческой жизни, — продолжал капитан, — мне доводилось неоднократно слушать проповедников различных вероисповеданий — лютеран, евангелистов, реформатов, кальвинистов и прочих, но никогда еще не слышал я проповеди, подобной вашей.

— Не проповеди, а поучения, достопочтенный сэр, — произнес пастор, — наша церковь называет это поучением.

— Как ни называй, — сказал Дальгетти, — во всяком случае, это было ganz fortre flich, как говоря г немцы; и я не могу уехать, не засвидетельствовав вам, как глубоко взволновала меня ваша душеспасительная проповедь и как я искренне раскаиваюсь в том, что вчера за вечерней трапезой я как будто не выказал достаточного уважения, подобающего вашей особе.

— Увы, достопочтенный сэр, — отвечал пастор, — в сем мире мы блуждаем, как тени в долине смерти, не зная, с кем нас может столкнуть судьба. Поистине, нет ничего

удивительного, если мы подчас пренебрегаем теми, кому оказали бы глубокое уважение, знай мы, с кем имеем дело. Вас я склонен был принимать скорее за безбожного приверженца короля, нежели за благочестивого человека, почитающего господа бога даже в лице ничтожнейшего слуги его.

— Таков уж мой обычай, ученейший муж! — отвечал Дальгетти. — Ибо, состоя на службе у бессмертного Густава Адольфа... Впрочем, я, кажется, отвлекаю вас от ваших благочестивых размышлений? — На сей раз затруднительные обстоятельства, в которых капитан очутился, победили в нем желание поговорить о шведском короле.

— Ничуть, достопочтенный сэр, — возразил пастор. — Позвольте вас спросить, каков был распорядок у этого великого государя, чья память так дорога каждому протестантскому сердцу?

— Утром и вечером барабан созывал нас на молитву, сэр, точно так же, как на перекличку; и если солдат проходил мимо капеллана, не поклонившись ему, то его на целый час сажали на деревянную кобылу. Позвольте, сэр, пожелать вам доброго вечера — я принужден покинуть замок, ибо пропуск мне уже вручен Мак-Каллумором.

— Подождите минутку, сэр! — остановил его проповедник. — Не могу ли я чем-нибудь засвидетельствовать мое глубокое уважение ученику великого Густава Адольфа и столь прекрасному ценителю благочестивого красноречия?

— Ничем, сэр, ничем, — отвечал капитан, — вот разве только попрошу вас указать мне ближайшую дорогу к воротам, да еще, раз уж вы так любезны, — присовокупил он с необыкновенной дерзостью, — не прикажете ли слуге подвести туда моего коня — темно-серого мерина; стоит только кликнуть: «Густав!» — и он насторожит уши. Сам я не знаю, где помещаются конюшни, а мой проводник, — добавил он, взглянув на Раналда, — не говорит по-английски.

— Спешу исполнить вашу просьбу и услужить вам, — сказал пастор. — А вам ближе всего будет пройти по этому сводчатому коридору.

«Да будет благословенно твое непомерное тщеславие! — подумал капитан. — А то я уже побаивался, что придется пуститься в путь без моего Густава».

И в самом деле, пастор проявил такое усердие ради столь превосходного ценителя благочестивого красноречия, что в то время как Дальгетти объяснялся с часовым у подъемного моста, предъявляя свой пропуск и сообщая пароль, слуга подвел ему коня, оседланного и готового к дальнейшему пути.

Во всяком другом месте внезапное появление капитана на свободе после того, как он на глазах у всех был отправлен в тюрьму, вызвало бы подозрение и повело к расспросам; но подчиненные л домочадцы маркиза привыкли к загадочным поступкам своего господина, и часовые попросту решили, что капитан был освобожден самим маркизом, давшим ему какое-нибудь тайное поручение. Поэтому, услышав от капитана условленный пароль, они беспрепятственно пропустили его.

Дальгетти медленно поехал по базарной площади городка Инверэри; Раналд, в качестве слуги, шел рядом с его лошадей. Проходя мимо виселицы, старик взглянул на болтавшиеся тела и в отчаянии заломил руки. И взгляд и движение были мгновенны, но в них отразилась глубокая скорбь. Быстро подавив волнение, Раналд на ходу шепнул что-то одной из женщин, которая, подобно Ресфе, дочери Аия, сторожила мертвые тела и оплакивала эти жертвы феодального произвола и жестокости. Женщина вздрогнула при звуке его голоса, но тотчас овладела собой и вместо ответа слегка наклонила голову.

Выехав из города, Дальгетти продолжал путь, раздумывая, следует ли ему попытаться захватить, либо нанять лодку, чтобы переправиться через озеро, или же лучше углубиться в лес и там скрываться от преследования? В первом случае он рисковал быть настигнутым немедленно: галери маркиза с высокими ряями, обращенными к подветренной стороне, стоявшие наготове у причала, отнимали у него всякую надежду уйти от них на обыкновенной рыбацкой лодке. Если же он решился бы на второе — то как найти пропитание и надежное убежище в этом диком и незнакомом ему краю? Город остался позади, а капитан все еще не мог решить, где ему искать спасения, и начинал подумывать, что, бежав из темницы инверэрского замка — что само по себе было поистине отчаянным поступком, — он выполнил лишь наиболее легкую часть своей трудной задачи. Если бы его теперь поймали, участь его была бы решена, ибо личное оскорбление, которое он нанес человеку столь могущественному и мстительному, могло быть искуплено только немедленной позорной смертью. Пока он предавался этим невеселым размышлениям и озирался вокруг в явной нерешительности, Раналд Мак-Иф внезапно спросил его, в какую сторону он намерен направиться?

— Вот в том-то и дело, мой почтенный попутчик, — отвечал Дальгетти, — я сам не знаю, что тебе на это ответить. Право же, Раналд, сдается мне, что лучше бы нам с тобой остаться в темнице на черном хлебе и воде до приезда сэра Дункана, который хотя бы уж ради собственной чести сумел бы вызволить меня оттуда.

— Слушай меня, сакс! — отвечал Мак-Иф. — Не жалею, что променял смрадное дыхание темницы на свежий воздух под открытым небом. А главное, не раскаивайся в том, что оказал услугу Сыну Тумана. Доверься мне, и я головой ручаюсь за твою безопасность.

— Можешь ты провести меня через эти горы и доставить обратно в армию Монтроза? — спросил Дальгетти.

— Могу, — отвечал Мак-Иф. — Нет никого, кто бы так хорошо знал эти горные проходы, пещеры, ущелья, заросли и дебри, как знает их любой из Сынов Тумана? В то время как другие ползают по долинам, вдоль берегов озер и рек, мы преодолеваем отвесные кручи в непроходимых горах и ущельях, откуда берут начало горные потоки. И никакая свора ищеек Аргайла не нападет на наш след в дремучей чаще, через которую я проведу тебя.

— Если так, дружище Раналд, то ступай вперед, — сказал Дальгетти, — ибо в этих водах я не берусь спасти корабль от гибели.

Итак, свернув в лес, простирившийся на многие мили вокруг замка, разбойник пошел вперед столь стремительно, что Густав едва поспевал за ним крупной рысью, причем Раналд так часто менял направление, сворачивая то вправо, то влево, что капитан Дальгетти вскоре потерял всякое представление о том, где он находится и в какую сторону держит путь. Тропинка, постепенно становившаяся все уже, вдруг окончательно затерялась в зарослях и лесном молодняке. Вблизи слышен был рев горного потока, почва стала неровной, топкой, и ехать дальше оказалось совершенно невозможно.

— Черт побери! — воскликнул Дальгетти. — Что же теперь делать? Неужели мне придется расстаться с Густавом?

— Не беспокойся о своем коне, — сказал разбойник, — ты скоро получишь его обратно.

Он тихонько свистнул, и из чащи терновника, словно звереныш, выполз полуголый мальчик, еле прикрытый клетчатой тряпкой; густая шапка спутанных волос, подвязанных кожаным ремешком, служила ему единственной защитой от солнца и непогоды; он был ужасающе худ, и серые сверкающие глаза, казалось, занимали на его изможденном лице вдесятеро больше места, чем им полагалось.



— Отдай своего коня мальчику, — сказал Раналд Мак-Иф, — твое спасение зависит от этого.

— Ох-ох-ох! — воскликнул капитан в отчаянии. — Неужто я должен поручить Густава такому конюху?

— В своем ли ты уме, что тратишь время на разговоры! — сказал Раналд. — Мы ведь не на дружеской земле, чтобы на досуге прощаться с конем, точно с родным братом. Говорю тебе, ты получишь его обратно; но — даже если бы тебе суждено было никогда больше не увидеть этого мерина — разве твоя жизнь не дороже самого лучшего жеребца, когда-либо рожденного кобылой?

— Что правда, то правда, дружище, — вздохнув, согласился Дальгетти. — Но если бы ты только знал цену моему Густаву и все, что нам пришлось пережить и выстрадать вместе!.. Смотри, он поворачивает голову, чтобы еще раз взглянуть на меня! Будь с ним поласковее, мой славный голоштанник, а я уж тебя отблагодарю!

С этими словами, чуть не плача, капитан бросил горестный взгляд на Густава и последовал за своим проводником.

Однако это оказалось не так-то легко, и вскоре от Дальгетти потребовалась такая ловкость, на которую он не был способен. Прежде всего, как только капитан расстался со своим конем, ему пришлось, хватаясь за свисающие ветви и торчащие из земли корни, спуститься с высоты восьми футов в русло потока, по которому Сын Тумана повел его. Они карабкались через огромные камни, продирались сквозь заросли терновника и боярышника, взбирались и спускались по крутым склонам. Все эти препятствия и еще много других быстроногий и полуобнаженный горец преодолевал с проворством и ловкостью, возбуждавшими искреннее удивление и зависть капитана Дальгетти; он же, обремененный стальным шлемом, панцирем и другими доспехами, не говоря уж о тяжелых ботфортах, в конце концов настолько обессилел, что присел на камень перевести дух и начал объяснять Раналду Мак-Ифу разницу между путешествием *expeditus* и *impeditus*, как эти военные выражения толковались в эбердинском училище. Вместо ответа горец положил ему руки на плечо и указал назад, в ту сторону, откуда дул ветер. Дальгетти ничего не мог различить, ибо сумрак быстро надвигался, а они находились в это время на дне глубокого оврага. В конце концов Дальгетти явственно расслышал глухие удары большого колокола.

— Это, должно быть, набат, — сказал он, — *Sturmglöcke*, как говорят немцы.

— Он возвещает час твоей смерти, — отвечал Раналд, — если ты помедлишь еще немного. Ибо каждый удар этого колокола стоит жизни честному человеку.

— Поистине, Раналд, мой верный друг, — сказал Дальгетти, — не стану отрицать, что таков может быть вскоре и мой собственный удел, ибо я совершенно выдохся (будучи, как я уже объяснял тебе, *impeditus*, ибо, будь я *expeditus*, пешее хождение не затруднило бы меня ни чуточки), и мне остается только залечь в этом кустарнике и спокойно ждать участи, уготованной мне небом. Убедительно прошу тебя, дружище Раналд, позаботься о самом себе, а меня предоставь моей судьбе, как сказал Северный Лев, бессмертный Густав Адольф, мой незабвенный начальник (о котором ты, наверно, слыхал, Раналд, если даже не слыхивал ни о ком другом), обращаясь к Францу Альберту, герцогу Саксен-Лауенбургскому, будучи смертельно ранен в сражении под Лютценом. К тому же не советую тебе терять окончательно надежду на мое спасение, Раналд, ибо я, воюя в Германии, попадал и не в такие переделки, особенно помню я случай во время злополучной битвы под Нерлингеном, после которой я перешел на другую службу.

— Хоть бы ты поберег дыхание сына твоего отца и не тратил понапрасну время на пустые рассказы! — прервал его Раналд, выведенный из терпения многословием капитана. — Если бы твои ноги могли двигаться так же быстро, как твой язык, то еще можно было бы надеяться,

что ты нынче ночью приклонишь голову на подушку, не орошенную твоей собственной кровью.

— В твоих словах определенно чувствуется военная сноровка, — отвечал капитан, — хотя выражаешься ты слишком резко и непочтительно по отношению к офицеру в высоком чине. Но я склонен простить такую вольность во время похода, принимая во внимание, что в войсках всех народов мира допускаются послабления в подобных случаях. А теперь, мой друг Раналд, веди меня дальше, ввиду того, что я немного отдышался, или, выражаясь более точно: *I prae, sequar*, как обычно говорилось у нас в эбердинском училище.

Догадавшись о намерении капитана скорее по его жестам, нежели поняв из его слов, Сын Тумана снова пустился в путь, безошибочно, словно инстинктивно, находя дорогу и уверенно ведя капитана вперед через самую непроходимую чащу, какую только можно себе представить. Едва передвигая ноги в тяжелых ботфортах, стесненный в своих движениях стальными набедренниками, рукавицами, нагрудником и кирасой, не считая толстого кожаного камзола, который был надет под всеми этими доспехами, разглагольствуя всю дорогу о своих прежних подвигах, — хотя Раналд и не обращал на его болтовню ни малейшего внимания, — капитан Дальгетти с трудом поспевал за своим проводником. Так они прошли значительное расстояние, как вдруг по ветру донесся до них громкий сиплый лай, каким охотничья собака дает знать, что она напала на след добычи.

— Окаянный пес, — воскликнул Раналд, — твоя глотка никогда не предвещала ничего доброго Сыну Тумана! Будь проклята сука, породившая тебя! Вот уже напала на наш след! Но поздно, подлая тварь, исчадь адаво: олень успел добраться до стада.

Раналд тихонько свистнул, и ему так же тихо ответили с вершины горного склона, по которому они поднимались. Ускорив шаг, они наконец достигли вершины, и капитан Дальгетти при ярком свете только что взошедшей луны увидел отряд из десяти — двенадцати горцев и примерно столько же женщин и детей, которые встретили Раналда Мак-Ифа бурными изъявлениями радости; капитан догадался, что окружавшие их люди были Сыны Тумана. Место, где они расположились, вполне соответствовало их прозвищу и их образу жизни. Это была нависшая над пропастью скала, вокруг которой вилась очень узкая тропинка, едва заметная с вершины.

Раналд быстро и взволнованно рассказывал что-то сынам своего племени, после чего мужчины один за другим стали подходить к Дальгетти и пожимать ему руку, а женщины теснились вокруг него, шумно выражая свою благодарность и чуть ли не целуя край его одежды.

— Они клянутся тебе в верности, — сказал капитану Раналд Мак-Иф, — в благодарность за добро, которое ты нынче сделал нам.

— Довольно об этом, Раналд, — отвечал Дальгетти, — довольно! Скажи им, что я не люблю рукопожатий: это путает все понятия о чинах и званиях в военном деле. А что касается целования рукавиц, одежды и тому подобное, мне вспоминается, как бессмертный Густав Адольф, проезжая по улицам Нюрнберга, где его таким же образом приветствовал народ (чего он, конечно, был гораздо более достоин, нежели бедный, но честный кавалер вроде меня), обратился к толпе с упреком, сказав: «Если вы будете поклоняться мне, как божеству, — кто может поручиться, что мщение небес не обрушится на мою голову и не докажет вам, что я смертный?» Так, значит, ты намерен здесь укрепиться и оказать сопротивление нашим преследователям, друг Раналд? *Voto a Dios*, как говорят испанцы, прекрасная позиция, пожалуй, лучше позиции для небольшого отряда я еще не видывал за все время своей службы: враг не может приблизиться по этой дороге, не оказавшись под обстрелом пушки или мушкета. Но, Раналд, верный товарищ мой, у тебя, насколько я могу судить, нет пушки, да и мушкетов я что-то не вижу у этих молодцов. Так с какой же артиллерией ты намереваешься

защищать проход, прежде чем дело дойдет до рукопашной? Поистине, Раналд, это выше моего понимания.

— Защитой нам будет отвага и оружие наших предков, — отвечал Мак-Иф, указывая на своих людей, вооруженных луками и стрелами.

— Лук и стрелы! — воскликнул Дальгетти. — Ха, ха, ха! Неужто вернулись времена Робина Гуда и Маленького Джона? Лук и стрелы! Вот уж сто лет, как ничего подобного не было видано в цивилизованной войне. Лук и стрелы! А почему бы не навой ткача, как во времена Голиафа? Подумать только: Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкиста, дожил до того, что собственными глазами увидел людей, вооруженных луками и стрелами! Бессмертный Густав Адольф никогда бы этому не поверил! Ни Валленштейн.., ни Батлер.., ни старик Тилли. Что ж, друг Раналд, коли у кошки только и есть, что когти... Стрелы так стрелы! Постараемся воспользоваться ими как можно лучше. Но так как я совершенно не знаю поля обстрела и дальноточности столь допотопной артиллерии, то придется тебе по собственному усмотрению определить наилучшую диспозицию; ибо о том, чтобы я принял командование, — что я сделал бы с большим удовольствием, если вы бы сражались по-христиански, — не может быть и речи, поскольку вы сражаетесь, как древние нумидийцы. Впрочем, я, конечно, приму участие в предстоящей схватке, пустив в ход пистолеты, ввиду того, что мой карабин, к несчастью, остался на седле у Густава. Покорно благодарю вас, — продолжал он, обращаясь к одному из горцев, протянувшему было ему свой лук. — Дугалд Дальгетти может сказать о себе то, что заучил в эбердинском училище:

Non eget Mauris jaculis, neque arcu, Nec venenatis gravida sagittis, Fusee, pharetra... Что означает...

Раналд Мак-Иф вторично прервал многословие разболтавшегося капитана, дернув его за рукав и указывая вниз, на ущелье. Лай ищейки раздавался все ближе и ближе, и теперь уже можно было различить голоса людей, следовавших за ней и перекликавшихся между собой, когда они разъезжались в разные стороны: либо для того, чтобы ускорить свое продвижение вперед, либо для того, чтобы более тщательно обыскать заросли на своем пути. Они явственно приближались с каждой минутой. Тем временем Мак-Иф предложил капитану сбросить свои доспехи и дал ему понять, что женщины сумеют их спрятать в надежном месте.

— Прошу прощения, сударь, — возразил Дальгетти, — но это не принято в иностранных войсках. Я, например, помню, какой выговор бессмертный Густав Адольф закатил финским кирасирам, лишив их барабана за то, что они позволили себе на марше снять свои кирасы и сдать их в обоз. И они до тех пор не имели права бить в барабан перед полком, пока не отличились в битве под Лейпцигом. Такой урок трудно забыть, так же как и слова бессмертного Густава Адольфа, воскликнувшего: «Я узнаю, в самом ли деле мои офицеры любят меня, когда увижу, что они надевают латы: ибо, если мои офицеры будут убиты, кто же поведет моих солдат к победе?» Тем не менее, друг Раналд, я не прочь был бы избавиться от своих несколько тяжеловатых сапог, если бы мог чем-нибудь заменить их; ибо я не убежден в том, что мои подошвы достаточно загрубели, чтобы я мог босиком ходить по камням и колючкам, как это, видимо, делает твоя команда.

Стащить с капитана громоздкие сапожищи и натянуть на его ноги башмаки из оленьей шкуры, которые один из горцев тут же скинул и уступил ему, — было делом одной минуты, и Дальгетти сразу же почувствовал огромное облегчение. Он только было посоветовал Раналду Мак-Ифу выслать двух или трех человек вниз, на разведку, и в то же время несколько развернуть фронт, поставив по одному стрелку на правый и левый фланги в качестве наблюдательных постов, — как вдруг собачий лай раздался совсем близко, предупреждая о том, что погоня находится уже у подошвы ущелья. Наступила мертвая тишина, ибо, как ни был капитан болтлив в иных случаях, — сидя в засаде, он отлично

понимал необходимость притаиться и хранить молчание.

Луна освещала каменистую тропинку и нависшие над ней выступы скалы, вокруг которой она вилась; там и сям ветки разросшегося в расселинах скал кустарника и карликовых деревьев, свешиваясь над самым краем пропасти, затемняли лунный свет. На дне мрачного ущелья, в глубокой тени, чернели густые заросли, напоминавшие своими неясными очертаниями волны скрытого туманом океана. По временам из самых недр этого мрака, со дна пропасти, доносился отчаянный лай, многократным эхом отдававшийся в окрестных горах и лесах. А временами наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь плеском горного ручейка, который то низвергался со скалы, то прокладывая себе более спокойное русло вдоль ее склона. Изредка снизу доносились приглушенные человеческие голоса; погоня, по-видимому, не наткнулась еще на узкую тропинку, которая вела к вершине утеса, а если и обнаружила ее, то не решалась воспользоваться ею из-за страшной крутизны, неверного освещения и возможности засады.

Наконец показались неясные очертания человеческой фигуры, которая, поднимаясь из мрака, со дна пропасти, и постепенно вырисовываясь в бледных лучах лунного света, начала медленно и осторожно пробираться вверх по каменистой тропинке. Очертания ее стали настолько явственными, что капитан Дальгетти разглядел не только самого горца, но и длинное ружье, которое он держал в руках, и пучок перьев, украшавший его шапочку.

— Tausend Teufel! Что это я ругаюсь, да еще перед самой смертью! — пробурчал капитан себе под нос. — Что теперь с нами будет, если они явились с огнестрельным оружием, а мы можем их встретить лишь стрелами?

Но в ту самую минуту, когда горец достиг выступа скалы, примерно на полпути подъема, и, остановившись, подал знак оставшимся внизу, чтобы они следовали за ним, — просвистела стрела, выпущенная из лука одним из Сынов Тумана, и, пронзив горца, нанесла ему такую тяжелую рану, что он, не сделав ни малейшей попытки к спасению, потерял равновесие и полетел вниз головой прямо в пропасть. Треск сучьев, которые он ломал по пути, и глухой звук падения тела вызвали крик ужаса и удивления у его спутников. Сыны Тумана, ободренные паникой, которую произвел среди преследователей их первый успех, ответили на этот крик громкими, радостными криками и, подойдя к краю утеса, неистовыми воплями и угрожающими жестами старались утратить противника, показывая ему свою храбрость, численность и готовность защищаться. Даже привычная осторожность военного не помешала капитану Дальгетти вскочить с места и крикнуть Раналду громче, чем подсказывало благоразумие:

— Que bueno, приятель! — как сказал бы испанец. Да здравствует арбалет! Теперь, по моему скромному разумению, следует вывести вперед одну шеренгу, чтобы занять позицию...

— Южанин! — крикнул голос снизу. — Целься в южанина! Я вижу, как блестит его панцирь.

В то же мгновение раздались три мушкетных выстрела; одна пуля «скользнула по надежному стальному нагруднику, прочности которого капитан неоднократно бывал обязан спасением своей жизни, а вторая пробила левый набедренник и свалила его с ног. Раналд тотчас же подхватил его на руки и оттащил от края пропасти, в то время как капитан сокрушенно говорил:

— Сколько раз я твердил и бессмертному Густаву Адольфу, и Валленштейну, и Тилли, и другим военачальникам, что, по моему слабому разумению, набедренники следует делать такими, чтобы их не пробивали пули.

Промолвив несколько слов на гэльском языке, Мак-Иф передал раненого на попечение женщин, находившихся в тылу маленького отряда, и хотел было возвратиться к месту битвы, но Дальгетти удержал его, крепко схватив за конец плета.

— Не знаю, чем все это кончится, но я прошу тебя сообщить графу Монтрозу, что я умер как достойный соратник бессмертного Густава... И прошу тебя..., не рискуй покидать теперешнюю позицию..., даже с целью преследования неприятеля, в случае если одержишь временно верх..., и..., и...

Тут Дальгетти, потеряв много крови, стал заметно слабеть, и Мак-Иф, воспользовавшись этим обстоятельством, высвободил конец своего плеча из его руки и вложил в нее конец плаща одной из женщин. Капитан крепко ухватился за него, воображая, что Раналд по-прежнему внимает тактическим наставлениям, которыми он продолжал сыпать, пока у него хватало сил, хотя слова его с каждой минутой становились все более бессвязными.

— Главное, дружище, не забудь выставить мушкетеров впереди отряда с пиками, секирами и мечами. Держитесь, драгуны, на левом фланге! Что я говорил? Да, вот что! Раналд, если решишь отступить, оставь несколько горящих фитилей на ветках деревьев, — будет казаться, что стреляют... Но я совсем забыл..., ведь у вас нет ни фитилей, ни кремневых ружей... только лук и стрелы — лук и стрелы... ха,ха,ха!..

Тут капитан окончательно выбился из сил и откинулся назад, покатываясь со смеху, ибо он, искушенный в науке современной войны, никак не мог примириться с мыслью о применении столь устаревшего оружия. Прошло много времени, прежде чем он очнулся от забытья; и мы теперь оставим его на попечении Дочерей Тумана, оказавшихся добрыми и внимательными сиделками, невзирая на свою дикую внешность и угловатые движения.

## Глава 15

Раз ты не запятнал стыдом

Измены честь свою,

Тебя прославлю я пером

И шпагой восхваляю.

Я послужу тебе, подав

В веках пример другим.

Из рук моих ты примешь лавр,

Все ревностней любим. Монтроз, «Стихи»

Мы вынуждены, хотя и не без некоторого сожаления, временно покинуть храброго капитана Дальгетти на произвол судьбы, предоставив ему залечивать свои раны, и постараемся вкратце описать военные действия Монтроза, вполне признавая, что они достойны более подробного изложения и более искусного историка. При содействии вождей горных кланов, с которыми мы уже познакомились раньше, и главным образом благодаря присоединению Мерри, Стюартов и других кланов Этола, с особенным рвением поддерживавших короля, Монтрозу вскоре удалось собрать войско в две-три тысячи горцев, к которым он присоединил ирландцев под начальством Колкитто. Этот последний, которого, к великому недоумению комментаторов, великий поэт Мильтон упоминает в одном из своих сонетов, носил имя Элистера, или Александра, Мак-Донела и, будучи уроженцем одного из шотландских

островов, приходился сродни графу Энтримскому, по милости которого и был назначен командующим ирландскими войсками. Во многих отношениях он был вполне достоин подобного отличия. Он был отважен и неустрашим до безрассудства, крепкого сложения и весьма деятелен, в совершенстве владел оружием и всегда был готов первым подать пример самой отчаянной храбрости. В противовес этим достоинствам нельзя не упомянуть, что он был неопытен в военной тактике, к тому же самоуверен и завистлив, из-за чего его личная доблесть редко содействовала успехам Монтроза. Но обаяние внешних качеств человека столь сильно действует на воображение дикого народа, что беспримерная смелость и отвага этого воина производили куда большее впечатление на горцев, нежели военное мастерство и рыцарское благородство-маркиза Монтроза. В горных ущельях Верхней Шотландии до сего времени еще сохранились многочисленные предания и легенды, связанные с именем Элистера Мак-Донела, тогда как имя Монтроза упоминается среди горцев очень редко.

Сборный пункт, к которому Монтроз в конце концов стянул свое небольшое войско, находился в Стратерне, на границе горных районов Пертшира, откуда маркиз мог угрожать главному городу этого графства.

Неприятель был готов встретить Монтроза надлежащим образом. Аргайл во главе своих горцев шел по пятам ирландцев, двигаясь с запада на восток, и, действуя силой, страхом или уговорами, успел собрать достаточное войско, чтобы дать сражение Монтрозу. Жители Нижней Шотландии также были готовы к войне по причинам, о которых мы уже упоминали в начале нашего рассказа. Войско, состоявшее из шести тысяч пехоты и шести-семи тысяч всадников, кощунственно называвшее себя воинством божьим, было спешно набрано в графствах Файф, Ангюс, Перт, Стерлинг и в соседних с ними округах. В прежние времена, пожалуй еще даже при предыдущем короле, было бы вполне достаточно значительно меньших сил, чтобы защитить границы Нижней Шотландии от натиска куда более грозной армии, нежели та, которой командовал Монтроз; но времена сильно изменились за последнее пятидесятилетие. Прежде жители предгорья вели непрерывную войну, так же как и горцы, но были более дисциплинированы и лучше вооружены. Излюбленный боевой порядок шотландцев несколько напоминал македонскую фалангу. Пехота, вооруженная длинными пиками, образовывала плотное каре, неуязвимое даже для тяжеловооруженной конницы того времени. Понятно, что пехота не могла быть смята беспорядочным натиском пеших горцев, вооруженных лишь для ближнего боя палашами, плохо снабженные огнестрельным оружием и вовсе не имеющих артиллерии.

Такой способ ведения войны существенно изменился благодаря введению мушкетов в войсках Нижней Шотландии; но мушкеты, в то время еще не снабженные штыками, представляли опасность лишь на расстоянии и служили плохой защитой при атаке врага. Правда, пика еще не совсем вышла из употребления в шотландской армии, но она уже не была излюбленным ее оружием и не внушала прежнего доверия тем, кто ею пользовался. Тогдашний знаток военной тактики Дэниел Лэптон даже посвятил целую книгу преимуществам мушкета перед пикой.

Это нововведение началось еще со времени войн Густава Адольфа, войска которого с такой поспешностью совершали переходы, что его армии пришлось очень быстро отказаться от пики и заменить ее огнестрельным оружием. Неизбежным следствием этого новшества — вместе с созданием постоянной армии, благодаря чему военное дело стало ремеслом — было введение дисциплины и чрезмерно сложной системы военного обучения, где условным выражениям команды соответствовали различные операции и маневры. Малейшее нарушение правил неизбежно приводило к замешательству и путанице. Таким образом, война, как она теперь велась большей частью европейских армий, приобретала в значительно большей мере, нежели раньше, характер профессии или мастерства, для овладения которым необходимы были предварительная практика и опыт. Таковы были естественные последствия создания постоянной армии почти повсеместно, и прежде всего в Германии, в эпоху ее длительных войн; военная наука заменила то, что можно бы назвать

естественной дисциплиной феодального ополчения.

Таким образом, ополченцы Нижней Шотландии оказались в положении, вдвойне невыгодном по сравнению с горцами. Они лишились пики — того оружия, которое в руках их предков столь часто отражало стремительный натиск горцев, и вынуждены были подчиняться правилам новой и сложной науки, быть может вполне пригодной в регулярных войсках, где она могла быть изучена в совершенстве, но сбивавшей с толку ополченцев, малознакомых с ней и плохо понимавших ее. В наше время так много сделано в смысле возврата к первоначальным принципам тактики и упразднения педантизма в военном деле, что нам легко понять неблагоприятные условия, в каких приходилось воевать плохо обученным ополченцам, которым внушалось, что успех военной операции всецело зависит от точного соблюдения правил военной тактики, усвоенных ими, по всей вероятности, лишь настолько, чтобы видеть свои ошибки, не зная, однако, как исправить их. Нельзя также отрицать того, что в отношении военного искусства и воинственного духа южные шотландцы в семнадцатом веке значительно уступали своим соотечественникам северянам.

С давних времен, вплоть до слияния обеих корон, вся Шотландия — Верхняя и Нижняя — постоянно была ареной войн, либо междоусобных, либо с внешним врагом; и едва ли нашелся бы хоть один среди отважных жителей Шотландии в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, кто не был бы готов — и по влечению сердца и согласно закону — взяться за оружие при первом кличе своего сюзерена или по приказу короля.

В 1645 году действовал тот же закон, что и сто лет назад, но поколения, выросшие за это время, были воспитаны в совершенно ином духе. Люди привыкли мирно сидеть среди своих виноградников и под сенью смоковниц, и призыв к оружию означал для них неприятную перемену жизни.

Южане, жившие в близком соседстве с горцами, находились в постоянном и невыгодном для себя общении с этими беспокойными обитателями горных высот, которые бесчинствовали, угоняли скот, разоряли дома и мало-помалу приобрели явное превосходство над ними путем непрерывных нападений. Жители предгорья, расселенные далеко от горных округов и, следовательно, меньше подвергавшиеся разорительным набегам, наслушавшись преувеличенных толков о злодеяниях горцев, обычаи, язык и платье которых резко отличались от их собственных, почитали их за дикарей, не знающих ни страха, ни милосердия.

При таком предвзятом мнении, в совокупности с менее воинственным духом и слабым знанием новейшей военной науки, заменившей их бесхитростный способ воевать, южные шотландцы оказались на поле сражения в крайне невыгодном положении по сравнению с горцами. В противоположность этому, горцы, унаследовавшие оружие и бесстрашие своих предков и сохранившие свою собственную, простую и привычную тактику, с полным сознанием своей силы и уверенностью в победе бросались на врагов, для которых плохо усвоенные правила новой науки служили — как некогда воинские доспехи Саула Давиду — скорее препятствием, нежели помощью, «ибо они к ним не привыкли».

Вот при таких-то неблагоприятных условиях, с одной стороны, и при явном преимуществе, с другой, — что несколько уравновешивалось разницей в численности и наличием артиллерии и конницы, — произошло сражение между силами Монтроза и войсками лорда Илхо под Типпермуrom.

Пресвитерианское духовенство не пожалело сил, чтобы поднять дух своих сторонников; так, например, один из проповедников, обратившись с увещанием к войскам в самый день сражения, не задумался объявить солдатам, что если когда-либо господь бог глаголил его устами, то он именем господним обещает им в этот день великую и верную победу. Кроме того, царил уверенность, что конница и артиллерия обеспечат полный успех, ибо эти новые

роды оружия уже не раз приводили горцев в замешательство. Местом сражения было открытое вересковое поле, не дававшее никаких преимуществ ни той, ни другой стороне, кроме того, что позволяло коннице пресвитериан действовать с успехом.

Никогда еще битва, имевшая столь важное и решающее значение, не была так легко и быстро выиграна. Конница южан пошла было в атаку, но оттого ли, что она была сразу же отброшена мушкетным огнем, или потому, что, как говорили, южные дворяне неохотно воевали против короля, — она не сумела смять горцев, не имевших даже штыков или пик для своей защиты, и отступила в беспорядке. Монтроз сразу же оценил этот успех и поспешил воспользоваться им. Он отдал приказ всей своей армии перейти в наступление, что она и сделала с дикой и отчаянной отвагой, присущей горцам. Только один офицер пресвитерианских войск, вышколенный в итальянских походах, оказал на правом фланге стойкое сопротивление. По всей остальной линии горцы прорвались при первом же натиске; и как только это преимущество было достигнуто, южане оказались совершенно неспособными противостоять в рукопашном бою своим более ловким и сильным противникам. Многие южане были убиты на месте, и такое множество людей погибло во время преследования, что, судя по донесениям, в этот день было уничтожено более трети всего пресвитерианского войска. Впрочем, в числе погибших следует считать немалое число тучных горожан, задохнувшихся на бегу при отступлении и умерших без единой раны.

Победители завладели Пертом и захватили крупные денежные суммы, а также большой запас оружия и снаряжения. Но все эти несомненные успехи сопровождались почти непреодолимыми затруднениями, неизбежно возникавшими в отрядах горцев. Никакими силами нельзя было убедить горные кланы в том, что они являются солдатами регулярного войска и должны действовать в соответствии с этим. Даже много позднее, в 1745 — 1746 годах, когда претендент Карл Эдуард острастки ради приказал расстрелять одного солдата за дезертирство, горцы, составлявшие его армию, были столь же возмущены этим поступком, сколь и напуганы. Они никак не могли признать справедливым закон, в силу которого можно было лишиться человека жизни только за то, что он ушел домой, когда ему не захотелось больше оставаться в армии. Таков был обычай их предков: как только кончалось сражение, они считали кампанию законченной; если сражение было проиграно, они спешили укрыться в своих горах; если выиграно — возвращались домой, дабы в надежном месте укрыть свою добычу. Иногда у них находились какие-нибудь неотложные дела: надо было присмотреть за скотиной, засеять поля или собрать урожай, иначе их семьи умерли бы с голоду. В любом случае их службе в армии временно наступал конец; и хотя их очень легко было призвать обратно, соблазнив надеждой на новые подвиги и новую добычу, но тем временем благоприятный случай бывал обычно безвозвратно упущен. Это обстоятельство, — даже если бы история не подтверждала этого, — служит неоспоримым доказательством того, что, ведя войну, горцы никогда не стремились к завоеваниям, а добивались только временных преимуществ или оружием разрешали какую-нибудь ссору. По этой же причине Монтрозу, невзирая на все его блестящие победы, так и не удалось добиться прочного положения в Нижней Шотландии, и даже те из южных вельмож и дворян, которые склонны были принять сторону короля, не доверяли Монтрозу и неохотно вступали в ряды армии, носившей столь случайный и непостоянный характер, опасаясь, что горцы в любую минуту, обеспечив себе отступление в горы, могут бросить на произвол судьбы присоединившихся к ним и оставить их в руках разъяренного и превосходящего численностью неприятеля. Этим же объясняются внезапные походы, которые Монтроз вынужден был предпринимать с целью пополнения своей армии, и непрочность военных успехов, нередко вынуждавшая его отступать перед только что разбитым врагом.

Если среди читателей найдутся лица, заинтересовавшиеся этим повествованием не только ради развлечения, то приведенные выше замечания могут оказаться достойными их внимания.

Именно вследствие этих причин — равнодушия южных роялистов и временного ухода горцев



из армии — Монтроз, даже после решительной победы под Типпермуrom, оказался не в состоянии сразиться со второй армией, которую Аргайл двинул против него с запада. В этот критический момент, решив возместить недостаток сил быстротой маневрирования, Монтроз внезапно повернул от Перта к Данди, а когда этот город не впустил его, перебросил свои войска к северу и пошел на Эбердин, где он рассчитывал соединиться с Гордонами и другими роялистами. Но пыл его союзников сильно охлаждал страх перед мощным корпусом пресвитериан численностью до трех тысяч человек под командованием лорда Берли. Однако Монтроз смело атаковал это войско, вдвое превосходившее числом его собственные силы. Сражение произошло под самыми стенами города, и доблестные приверженцы Монтроза вновь одержали победу, несмотря на все неблагоприятные условия.

Но такова была судьба этого великого полководца: неизменно стяжая славу, он редко пожинал плоды своих побед. Едва он успел дать небольшую передышку своим войскам в Эбердине, как оказалось, с одной стороны, что Гордоны вряд ли решатся примкнуть к нему, — по причинам, указанным выше, а также по чисто личным соображениям их вождя, маркиза Хантли; с другой стороны, Аргайл, силы которого пополнились несколькими примкнувшими к нему южными дворянами, выступал против Монтроза во главе армии, значительно превосходившей все те, с которыми Монтрозу до сих пор приходилось сражаться. Правда, эти войска двигались очень медленно, вследствие осторожного нрава своего начальника, но именно потому, что осмотрительность Аргайла была хорошо известна, самый факт его продвижения вызывал тревогу, ибо доказывал, что он идет во главе непреодолимо мощной армии.

Монтрозу оставался только один путь к отступлению, и он воспользовался им. Он ушел в горы, где не боялся преследования; кроме того, он был уверен, что в каждом ущелье сумеет найти и вернуть в армию тех, кто временно покинул ее ряды, чтобы припрятать свою военную добычу. В том и состоял необычный характер войска, возглавляемого Монтрозом: с одной стороны, победы его часто давали пустячные результаты, с другой, вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам, он всегда мог обеспечить себе отступление, собрать новые силы и снова идти против врага, с которым он еще совсем недавно не мог тягаться.

На сей раз он отступил к Баденоху и, быстро пройдя весь этот округ, а затем смежное с ним графство Этол, начал беспокоить пресвитериан рядом последовательных нападений в самых неожиданных местах, чем вызвал такую тревогу, что парламент слал своему главнокомандующему, маркизу Аргайлу, приказ за приказом, требуя во что бы то ни стало начать наступление и разгромить армию Монтроза.

Повелительные требования со стороны правительства пришлись не по вкусу высокомерному вельможе и отнюдь не отвечали его медлительному и осторожному образу действий. Поэтому он не обращал на них внимания и ограничивался тем, что сеял рознь между Монтрозом и немногими его союзниками из южных дворян, которых и так уже утомили тяготы военного похода в горах, вынуждавшего их к тому же бросать свои поместья на милость пресвитериан. В эту пору многие из них покинули лагерь Монтроза. Но зато к нему присоединились значительные силы его сторонников, более близких ему по духу и несравненно лучше приспособленных к ведению войны в создавшихся условиях; это подкрепление состояло из многочисленного отряда горцев, которых Колкитто, нарочно для этого посланный, завербовал в Аргайлшире. Среди наиболее видных из этих горцев можно назвать Джона Мойдarta, прозванного вождем клана Раналдов, Стюартов из Аппина, клан Грегоров, клан Мак-Нэбов и другие семьи, менее значительные. Благодаря этому подкреплению армия Монтроза так грозно разрослась, что Аргайл не пожелал более командовать войсками его противников и возвратился в Эдинбург, где сложил с себя полномочия под тем предлогом, что ему не дали военного снаряжения, какое ему требовалось. Из Эдинбурга маркиз отправился в Инверэри, дабы в полной безопасности управлять своими вассалами и родичами, твердо полагаясь на то, что «далеко отсюда до Лохоу!» — как гласила старинная поговорка его клана.

## Глава 16

Отряд был заперт, словно в западне:

Вперед пойдешь — скалистых гор

Вершины,

Назад пойдешь — дремучий лес

В огне,

А по бокам — болотные трясины.

И понял граф: все гибельны пути,

И он зовет начальников к себе.

Они решили лишь вперед идти,

Вручив себя изменчивой судьбе. «Флодденское поле», старинная песня

Монтроз был теперь во всеоружии и мог совершить блестящий поход, если бы ему удалось склонить к этому свои доблестные, но непостоянные войска и их непокорных вождей. Путь к предгорью был открыт, и не было больше армии, способной остановить Монтроза; ибо сторонники Аргайла покинули войско пресвитериан, как только их начальник ушел со своего поста, а многие из других отрядов, утомленные войной, воспользовались тем же случаем, чтобы разойтись по домам. Итак, Монтрозу оставалось только спуститься по долине реки Тэй, одному из самых удобных горных проходов, и появиться в предгорье, чтобы пробудить в южанах дремлющий дух рыцарства и верности королю, воодушевлявший шотландское дворянство севернее залива Форт. Овладев этими южными округами, — мирным ли путем или с помощью военных действий, — Монтроз получил бы в свое распоряжение богатую и плодородную область королевства, что дало бы ему возможность вовремя выплачивать жалованье своим солдатам и тем сохранить более или менее постоянное войско; он мог бы дойти до Эдинбурга, а оттуда, быть может, и до английской границы, где рассчитывал снестись с непобежденными еще боевыми силами короля Карла.

Таков был план военных действий, с помощью которых могла быть одержана верная победа и обеспечен успех делу короля. Это отлично понимал честолюбивый и отважный полководец, уже заслуживший своими заслугами титул «великого маркиза». Но совсем иными соображениями руководствовались многие из его сторонников и, быть может, оказывали тайное и не осознанное им самим влияние на его собственные чувства.

Вожди западных кланов, находившиеся в армии Монтроза, почти все без исключения считали победу над маркизом Аргайлом истинной и непосредственной целью похода. Почти все они испытали на себе гнет его власти; почти все, уведя с собой в армию боеспособных людей своего клана, тем самым оставили свои семейства и свое имущество без защиты от его мести; все до единого жаждали ослабления его могущества; и, наконец, многие из них были столь близкими соседями Аргайла, что могли надеяться в случае победы урвать в свою пользу часть его земель. Для этих вождей захват замка Инверзери со всеми владениями маркиза был делом несравненно более важным и желательным, нежели взятие Эдинбурга.

Взятие столицы Шотландии могло доставить их людям лишь единовременную выплату жалованья или немного добычи, тогда как захват замка Инверэри обеспечил бы самим вождям безнаказанность за прошлое и безопасность на будущее.

Помимо чисто личных побуждений, сторонники похода на Инверэри приводили вполне разумные доводы, а именно, что, хотя сейчас силы Монтроза численностью превосходят силы неприятеля, но по мере удаления от горных областей будут постепенно уменьшаться, и ему не одолеть войско пресвитериан, которое те могут собрать из жителей предгорья и солдат местных гарнизонов; с другой же стороны, одержав решительную победу над Аргайлом, Монтроз не только даст возможность своим западным союзникам вывести за собой ту часть ратных людей, которых они в противном случае должны будут оставить для охраны своих семейств, но и привлечет под свои знамена многие кланы, давно сочувствующие его делу и не примыкающие к нему лишь из страха перед Мак-Каллумором.

Все эти соображения, как уже говорилось выше, находили некоторый отклик в душе Монтроза, хотя и несколько противоречили его благородной натуре. С давних пор дом Аргайлов и дом Монтрозов соперничали друг с другом, и им неоднократно приходилось сталкиваться как в политических, так и в ратных делах; значительные привилегии, которых добились Аргайлы, делали их предметом зависти и неприязни другого дома, члены которого, сознавая свои равные права и заслуги, считали себя обделенными. Мало того — нынешние главы обоих семейств соперничали друг с другом с самого начала междоусобной войны.

Монтроз, считавший себя более одаренным, нежели Аргайл, и оказавший большие услуги пресвитерианам в начале войны, ожидал, что они предоставят ему первое место как на политическом, так и на военном поприще; парламент, однако, нашел более надежным отдать это место человеку с ограниченными способностями, но пользующемуся большим влиянием в стране. Оказанное Аргайлу предпочтение было тяжкой обидой для Монтроза; он не простил пресвитерианам и еще менее склонен был простить Аргайлу, которого ему предпочли. Поэтому вся ненависть, на какую был способен человек пылкого нрава в те суровые времена, побуждала Монтроза отомстить заклятому врагу своего рода и своему личному недругу. Очень вероятно, что эти личные причины оказали на него немалое влияние, когда он убедился, что большинство его приверженцев гораздо более расположено идти в поход на земли Аргайла, нежели предпринять более решительные шаги, без промедления двинувшись на юг.

Но как ни велик был для Монтроза соблазн напасть на владения Аргайла, ему не легко было отказаться от попытки победоносного вторжения в Нижнюю Шотландию. Он неоднократно созывал всех главных вождей на военный совет, силясь побороть их противодействие и, быть может, свои собственные тайные желания. Он указывал им на то, что даже для горцев почти невозможно подступиться к Аргайлширу с восточной стороны, по горным тропам, едва проходимым для пастухов и охотников за красным зверем, и через перевалы, малоизвестные даже тем кланам, которые жили поблизости. Все трудности похода еще усугублялись временем года: приближался декабрь, можно было ожидать, что горные дороги, и без того малодоступные, станут совершенно непроходимыми из-за снежных буранов. Однако эти доводы не удовлетворяли и не убеждали вождей, продолжавших настаивать на том, что воевать нужно по старинке, то есть гнать с собой скотину, которая, как гласит гэльская поговорка, «пасется на вражеских лугах».

Совет был распущен поздно ночью, однако никакого решения вынесено не было, кроме того, что вожди, стоявшие за нападение на Аргайла, обещали выбрать из своих людей надежных проводников для предстоящего марша.

Монтроз удалился в хижину, служившую ему походной палаткой, и растянулся на подстилке из сухого папоротника — единственном ложе, которое могло быть ему предоставлено. Но желанный покой не приходил: честолюбивые мечты гнали прочь сновидения. То ему

рисовалось, будто он водружает королевское знамя на военной цитадели Эдинбурга, оказывает помощь монарху, корона которого зависит от его, Монтроза, побед, и получает в награду все преимущества и привилегии от короля, чью благодарность он заслужил. Потом эти мечты, сколь ни были они заманчивы, бледнели перед видениями утоленной мести и торжества над личным врагом. Захватить Аргайла врасплох в его инверэрской твердыне, сокрушить в его лице одновременно исконного врага своего рода и главный оплот пресвитерианства, показать парламенту, как он ошибся, вознеся Аргайла и унизив Монтроза, — такая картина была слишком соблазнительна для воображения феодала, обуреваемого жадной мщенья, чтобы он мог легко от нее отказаться.

В то время как Монтроз предавался столь противоречивым размышлениям, солдат, стоявший на часах у входа в хижину, доложил ему, что двое неизвестных просят разрешения переговорить с его светлостью.

— Кто они такие, — опросил Монтроз, — и что побудило их явиться в столь поздний час?

На эти вопросы часовой, ирландец из отряда Колкитто, не мог толком ответить своему начальнику, поэтому Монтрозу который в военное время не считал возможным кому-либо отказывать в приеме, дабы не упустить случая получить важные сведения, распорядился осторожности ради поставить вооруженную охрану, а сам приготовился встретить поздних гостей. Его камердинер едва успел зажечь факелы, а сам Монтроз едва успел подняться со своего ложа, как в хижину вошли двое неизвестных; один из них был одет в рваную замшевую куртку, какие носят в предгорье; другой, высокий старик, изможденное лицо которого было столь сильно обветрено, что приобрело свинцовый оттенок, кутался в клетчатый плащ горца.

— Что привело вас ко мне, друзья? — спросил Монтроз, причем пальцы его невольно нащупали рукоять пистолета, ибо беспокойные времена и поздний час, естественно, внушали опасения, и даже благопристойная наружность посетителей не содействовала тому, чтобы эти опасения рассеялись.

— Честь имею, — сказал человек в куртке, — поздравить вас, мой благородный генерал и достопочтенный лорд, с великими победами, которые вы одержали с тех пор, как судьба разлучила нас. Чудесное было дело, эта схватка под Типпермуrom; тем не менее я позволил бы себе посоветовать...

— Прежде чем продолжать, — прервал его маркиз, — не будете ли вы так любезны сообщить мне, кто удостоивает меня чести давать мне советы?

— По правде говоря, милорд, — отвечал незванный посетитель, — я полагал, что в этом нет нужды, ибо не так уж давно я поступил к вам на службу и вы обещали мне чин майора с жалованьем полталера в сутки и столько же по окончании похода; и я имею смелость надеяться, что ваша светлость не забыли ни своего обещания, ни моей особы.

— Любезный друг мой, майор Дальгетти! — сказал Монтроз, успевший тем временем узнать своего гостя. — Вы должны принять во внимание, какие важные события произошли за это время, если лицо друга могло выскользнуть из моей памяти; да к тому же это скудное освещение... Но все условия будут выполнены. А какие новости вы привезли мне из Аргайлшира, милейший майор? Мы считали вас погибшим, и я уже готовился жестоко отомстить этой старой лисе, поправшей в вашем лице все правила войны.

— Поистине, милорд, — отвечал Дальгетти, — я не желал бы, чтобы мое возвращение приостановило исполнение вашего справедливого и мудрого намерения; ибо, если я сейчас стою здесь, то это отнюдь не по милости и не по доброй воле маркиза, и я совсем не намерен быть его заступником перед вами. Своим спасением я обязан милосердному небу и той несравненной ловкости, с которой я как старый и опытный воин сумел совершить побег. Но, помимо неба, помощь в этом деле оказал мне вот этот старый горец, которого я осмеливаюсь

поручить особому вниманию вашей светлости, как орудие спасения вашего покорного слуги Дугалда Дальгетти, наследника поместья Драмсуэки.

— Услуга, достойная благодарности, — промолвил маркиз, — и, без сомнения, будет должным образом вознаграждена.

— Преклони колено, Раналд, — сказал майор Дальгетти (как мы должны теперь величать его). — Преклони колено и поцелуй руку его светлости!

Но предписанная этикетом церемония приветствия не была в обычае у горцев, и Раналд ограничился тем, что, скрестив на груди руки, слегка наклонил голову.

— Да будет вам известно, милорд, — продолжал майор Дальгетти с важным видом и покровительственным тоном по отношению к Раналду, — бедняга сделал все, что было в его слабых силах, чтобы защитить меня от моих врагов, не имея в качестве метательного снаряда ничего лучшего, кроме лука и стрел, чему ваша светлость едва ли поверит.

— Вы увидите немало этого оружия и в моем лагере, — отвечал Монтроз, — и мы считаем его весьма пригодным.

— Пригодным, милорд? — воскликнул Дальгетти. — Да простит мне ваша светлость мое крайнее изумление... Лук и стрелы! Не посетуйте на мою смелость и позвольте мне посоветовать вам заменить при первой же возможности это оружие мушкетами. Но должен вам сказать, что сей честный горец не только защитил меня, но и приложил все старания к тому, чтобы меня вылечить, ибо при отступлении я был ранен; и его заботы обо мне заслуживают того, чтобы я с благодарностью препоручил его особому вниманию и попечению вашей светлости.

— Как твое имя, дружище? — спросил Монтроз, обращаясь к горцу.

— Мне нельзя назвать его, — отвечал горец.

— Он хочет сказать, — пояснил майор Дальгетти, — что желал бы сохранить свое имя в тайне, ибо в былые дни он овладел неким замком, убил детей его владельца и совершил ряд других поступков, которые, как вашей светлости хорошо известно, совершаются сплошь и рядом во время войны, но которые не возбуждают особого доброжелательства со стороны родственников пострадавшего к виновнику его несчастий. Я по своему долгому военному опыту знаю, что крестьяне часто предавали смерти храбрых воинов единственно за то, что они позволяли себе кое-какие военные вольности в их стране.

— Понимаю, — сказал Монтроз. — Этот человек во вражде с кем-нибудь из наших сторонников. Отправьте его в кордегардию, а мы пока подумаем, как лучше всего защитить его.

— Слышишь, Раналд, — с видом превосходства обратился к нему майор Дальгетти, — его светлость желает держать со мной тайный совет, а тебе надлежит отправиться в кордегардию. Да ведь он, бедняга, не знает, где что находится! Он еще молодой солдат, хотя и старый человек. Я сейчас препоручу его одному из часовых и немедленно возвращусь к вашей светлости.

Так Дальгетти и сделал и быстро возвратился в хижину.

Прежде всего Монтроз стал расспрашивать Дальгетти о его пребывании в Инверэри и внимательно выслушал его ответ, несмотря на неудержимое многословие майора. Маркизу потребовалось немало усилий, чтобы выслушать рассказ до конца; но он прекрасно знал, что, если хочешь извлечь нужные сведения из доклада посла, такого, как Дальгетти, нужно дать

ему выговориться. Долготерпение маркиза было в конце концов вознаграждено: в числе прочей военной добычи, которую майор позволил себе захватить в замке, была пачка личных бумаг Аргайла. Ее-то майор и вручил своему начальнику. Впрочем, этим Дальгетти и ограничился, ибо нет никаких указаний на то, чтобы он в своем донесении упомянул о кошельке с золотом, который он присвоил себе одновременно с изъятием вышеупомянутой пачки. Сняв со стены один из факелов, Монтроз немедленно погрузился в чтение бумаг, среди которых нашел, по-видимому, нечто, подогревшее его личную ненависть к сопернику.

— Ах, он не боится меня? — проговорил он. — Так он узнает меня... Он спалит мой замок Мардох? Первым запылает Инверэри... Чего бы я не дал за проводника через ущелье Страт-Филлан!

Как сильно ни любовался собою Дальгетти, он все же достаточно хорошо знал свое дело, чтобы сразу догадаться, о чем думает Монтроз. Тотчас же прервав свои разглагольствования по поводу схватки, имевшей место в горах, и раны, полученной им при отступлении, он повел речь о том, что больше всего занимало Монтроза.

— Если ваша светлость желает проникнуть в Аргайлшир, — сказал Дальгетти, — то этот бедняга Раналд, о котором я говорил вам, вместе со своими детьми и родичами знает в этом краю каждую тропинку, ведущую к замку Инверэри как с восточной, так и с северной стороны.

— В самом деле? — воскликнул Монтроз. — Но какие у вас основания доверять его знаниям?

— С разрешения вашей светлости, — отвечал Дальгетти, — в течение тех, недель, что я провел среди его племени, залечивая свою рану, мы были вынуждены несколько раз перекочевывать с места на место, ибо Аргайл неоднократно возобновлял попытки за владеть особою офицера, облеченного доверием вашей светлости. Таким образом, я имел случай оценить необыкновенное знание местности этими людьми и то проворство, с каким они то отступали, то продвигались вперед. И когда наконец я оправился настолько, что мог вновь встать под знамена вашей светлости, то этот простой, честный малый, Раналд Мак-Иф, провел меня сюда такими путями, по которым мой конь Густав (если ваша светлость изволит его помнить) прошел совершенно беспрепятственно. Вот тогда-то я и сказал себе, что если бы во время похода в западных горах понадобился проводник, лазутчик или разведчик, то более опытных людей, нежели Раналд и его спутники, трудно было бы найти.

— А можете ли вы поручиться за верность и преданность этого человека? — спросил Монтроз. — Как его зовут и кто он такой?

— Он злодей и разбойник по ремеслу и, кажется, убийца и душегуб, — отвечал Дальгетти, — а зовут его Раналд Мак-Иф, что означает: Раналд, Сын Тумана.

— Мне что-то помнится это имя, — проговорил Монтроз задумчиво. — Не эти ли Сыны Тумана совершили какое-то злодейство в семье Мак-Олеев?

Майор Дальгетти заговорил об убийстве лесничего, и превосходная память Монтроза тотчас подсказала ему все подробности этой кровавой вражды.

— Очень досадно, — сказал Монтроз, — что между этими людьми и домом Мак-Олеев такая непримиримая вражда. Аллан выказал много мужества в нынешних походах, к тому же он имеет огромное влияние на умы своих соотечественников благодаря мрачной таинственности своего поведения и речей. Мне не хотелось бы вызывать его неудовольствие, это могло бы иметь очень неприятные последствия. А между тем эти люди были бы нам весьма полезны, и если, как вы утверждаете, на них можно вполне положиться...

— Я ручаюсь за них своим жалованьем и наградами, своим конем и оружием, своей головой и

шей, — сказал майор, — а вашей светлости известно, что больше этого честный воин не может сказать даже про родного отца.

— Все это прекрасно, — возразил Монтроз, — но, поскольку вопрос этот чрезвычайной важности, я хотел бы знать, на чем покоится ваша столь твердая уверенность?

— Короче говоря, милорд, — отвечал майор, — они не только не польстились на недурное вознаграждение за мою голову, которым Аргайл удостоил меня, не только не посягнули на мое личное имущество, на которое, наверное, позарились бы солдаты любой регулярной армии в Европе, не только возвратили мне моего коня, весьма ценного, как ваша светлость изволит знать, — но я не мог никакими силами убедить их принять от меня ни одного стайвера, дойта или мараведи в уплату за беспокойство и в возмещение расходов, которые требовал уход за мной. Они решительно отказались от звонкой монеты, предложенной от всего сердца, а это редко приходится видеть в христианской стране.

— Согласен, — сказал Монтроз, — что поведение их по отношению к вам может служить залогом их надежности; но как предотвратить вспышку смертельной вражды между ними и Алланом Мак-Олеем? — С минуту он помолчал и вдруг неожиданно добавил:

— Я совсем забыл, что я-то уже поужинал, а вы, майор, путешествовали всю ночь.

Он приказал слугам подать вина и закуски. Майор Дальгетти с аппетитом выздоравливающего, к тому же недавно покинувшего горные ущелья, не заставил себя долго просить и с жадностью накинулся на еду; маркиз, налив себе кубок вина и выпив его за здоровье майора, заметил, что, как ни скромна провизия в его лагере, майору Дальгетти, по-видимому, приходилось довольствоваться еще худшей пищей вовремя своих странствований по Аргайлширу.

— Можете быть уверены, ваша светлость, — с полным ртом отвечал почтенный майор, — вкус черствого хлеба и затхлой воды, которыми угощал меня Аргайл, до сих пор у меня во рту, а пища, которую доставляли мне Сыны Тумана, — хоть эти бедные, беспомощные создания и старались изо всех сил, — не шла мне впрок, так что, когда я надевал свои доспехи, которые, кстати, мне пришлось бросить ради удобства дальнейшего путешествия, мое тело болталось в них, как прошлогодний сморщенный орех в своей скорлупе.

— Вам нужно скорее вернуть потерянное, майор Дальгетти.

— По правде говоря, — сказал майор, — мне это едва ли удастся, если только мне не будет выдано жалованье, ибо, смею вас уверить, ваша светлость, те сорок два фунта веса, которые я сейчас потерял, были приобретены мной за счет жалованья, аккуратно выплачивавшегося правительством Голландии.

— В таком случае, — промолвил Монтроз, — вы сейчас достигли веса, при котором вам легче будет совершать походы. Что же касается жалованья, то дайте нам одержать победу, майор. Только одержать победу — и тогда все желания, и ваши и наши, исполнятся... А пока налейте себе еще вина.

— За здоровье вашей светлости, — провозгласил майор, наполняя кубок до самых краев, дабы выказать свою преданность, — за победу над всеми врагами, а главное — над Аргайлом! Надеюсь вырвать собственноручно второй клочок волос из его бороды, — однажды мне уже удалось ее пощипать.

— Прекрасно, — отвечал Монтроз. — Но возвратимся к вопросу об этих людях

— Сынах Тумана. Вы, разумеется, понимаете, Дальгетти, что об их присутствии и о том, с какой целью мы намерены их использовать, никто не должен знать, кроме нас с вами?

Майор, в восторге от этого знака особого доверия со стороны своего начальника, — на что Монтроз и рассчитывал, — прижал ладонь к губам и важно кивнул головой.

— А много ли спутников у Раналда? — спросил маркиз.

— Насколько мне известно, — отвечал майор Дальгетти, — их всего человек восемь или десять мужчин и несколько женщин и детей.

— Где они сейчас находятся? — продолжал спрашивать маркиз.

— В ущелье, мили за три отсюда, — отвечал майор, — в ожидании приказа вашей светлости. Я не почел удобным привести их в лагерь без вашего на то соизволения.

— И хорошо сделали, — сказал Монтроз, — им лучше оставаться там, где они сейчас, или даже поискать себе убежище подальше отсюда. Я пошлю им денег, хотя у меня их сейчас маловато.

— В этом нет никакой надобности, — возразил майор Дальгетти. — Вашей светлости стоит лишь намекнуть, что Аллан направляется в ту сторону, и мои приятели, Сыны Тумана, немедленно сделают «направо кругом» и поспешат дать тягу.

— Это едва ли будет очень любезно с нашей стороны, — сказал Монтроз. — Лучше все-таки послать им немного денег — они смогут купить коров для того, чтобы прокормить женщиной детей.

— Поверьте, они сумеют приобрести себе коров гораздо более дешевым способом, — заметил майор. — Впрочем, как будет угодно вашей светлости.

— Пусть Раналд Мак-Иф выберет двух-трех людей понадежнее, — сказал Монтроз, — которым можно доверять и которые умеют держать язык за зубами, они-то и будут служить нам проводниками под командой своего главаря. Пусть они завтра же на рассвете явятся ко мне, и постарайтесь, если возможно, чтобы они не догадались о моих намерениях и не разговаривали друг с другом наедине. А у этого старика есть дети?

— Все они убиты или повешены, — отвечал майор, — а было что-то около дюжины; у него остался только один внук, бойкий и смысленый мальчонка. Я никогда не видел его иначе, как с камнем, который он готов швырнуть во что попало. Если верить этой примете, то, как Давид, который имел обыкновение метать гладкие камешки, добытые со дна потока, он со временем будет храбрым воином.

— Этого мальчика, майор Дальгетти, я возьму себе в пажи, — сказал маркиз.

— Надеюсь, что у него хватит ума сохранить свое имя в тайне?

— Ваша светлость может не беспокоиться, — отвечал Дальгетти. — Эти пострелята, едва вылупившись из яйца...

— Так вот, — прервал его Монтроз, — этот мальчик будет нам залогом верности деда, и если тот оправдает наше доверие, то мои заботы о судьбе мальчика будут ему наградой. А теперь, майор Дальгетти, я разрешаю вам удалиться на покой; завтра вы приведете ко мне Мак-Ифа и представите под именем и званием, которое он сам себе выберет. Я предполагаю, что его ремесло научило его всяким уловкам, в противном случае мы посвятим в свои планы Джона Мойдарта; у него есть здравый смысл, практичность и сообразительность, и он, вероятно, позволит этому старику на некоторое время выдавать себя за члена его клана. Что касается вас, майор, то мой камердинер будет на сегодняшний вечер вашим квартирмейстером.

Майор Дальгетти с легким сердцем откланялся и вышел, весьма польщенный оказанным ему



приемом и в восторге от милостивого обращения своего нового начальника, который, как он пространно объяснил Раналду Мак-Ифу, своим поведением весьма напоминает ему бессмертного Густава Адольфа — Северного Льва и оплот протестантской веры.

## Глава 17

Построившись, войска пошли вперед...

И вслед ему с тоской смотрел народ.

И голод стал на берегу, как пес,

И горы снегу громоздил мороз.

А он все шел, наперекор лишениям... Тщета человеческих желаний»

На рассвете следующего дня Монтроз принял у себя в хижине старика Раналда и долго и подробно расспрашивал его о возможности проникнуть в графство Аргайл. Он записал его ответы, чтобы затем сличить их с показаниями двух его спутников, которых старик представил ему как очень опытных и надежных людей. Оказалось, что сведения всех троих полностью совпадают; однако, не удовлетворившись этим и считая, что в таком деле нужна особая предосторожность, маркиз сравнил полученные им сведения с теми, которые ему удалось собрать среди вождей, живших поблизости от места предстоящего вторжения; убедившись, что все сведения точно совпадают, он решил действовать, вполне полагаясь на них.

Только в одном Монтроз нашел нужным изменить свое первоначальное решение. Считая неудобным оставлять при себе юного Кеннета из опасения, что, если тайна его происхождения раскроется, таким поступком могут оскорбиться многочисленные кланы, которые питают ненависть к Сынам Тумана, Монтроз предложил майору Дальгетти принять мальчика под свое покровительство; а так как он высказал свою просьбу, основательно «сдобрив» ее — под предлогом приобретения одежды для юноши, — такое решение удовлетворило всех.

Перед самым завтраком, получив от Монтроза разрешение удалиться, майор Дальгетти отправился на поиски своих старых знакомых, лорда Ментейта и братьев Мак-Олеев; ему не терпелось поскорее сообщить им о своих приключениях и узнать от них подробности совершенного похода. Можно легко себе представить, с какой искренней радостью он был встречен людьми, для которых появление всякого нового лица было приятным разнообразием среди скуки лагерной жизни. Только один Аллан Мак-Олей весь как-то съежился при встрече со своим прежним знакомцем; однако, когда старший брат стал расспрашивать его о причине такого поведения, он не мог ничего объяснить, кроме того, что ему претит присутствие человека, который так недавно находился в обществе Аргайла и прочих врагов. Майор Дальгетти был несколько встревожен тем, что Аллан со свойственной ему сверхъестественной прозорливостью угадал, что он недавно находился среди враждебных Аллану людей; однако он вскоре успокоился, убедившись, что прозорливость ясновидца не всегда бывает непогрешимой.

Так как Раналд Мак-Иф поступил в распоряжение майора Дальгетти и находился под особым его покровительством, майору необходимо было представить его тем людям, с которыми ему

предстояло чаще всего общаться. Свою одежду старик успел уже сменить на другую и вместо клетчатого пледа своего клана облачился в одежду, которую обычно носили жители отдаленных островов: нечто вроде жилета о рукавами и пришитой к нему юбкой. Это платье спереди имело шнуровку сверху донизу и несколько напоминало так называемый полонез, который до сих пор носят в Шотландии дети в семьях низших сословий. Узкие клетчатые штаны и шапочка довершали этот костюм, который был хорошо знаком старожилам прошлого столетия, выдавшим его на уроженцах дальних островов, ставших под знамена графа Мара в 1715 году.

Майор Дальгетти, искоса поглядывая на Аллана, представил Раналда Мак-Ифа под вымышленным именем Раналда Мак-Джиллихурона из Бенбекулы, бежавшего вместе с ним из подземелья маркиза Аргайла. Он отрекомендовал его как искусного арфиста и певца, а также как превосходного ясновидца или прорицателя. Делая это сообщение, майор Дальгетти мялся и запинаясь, и это было столь непохоже на его обычную самоуверенность и развязность, что, несомненно, возбудило бы подозрения Аллана Мак-Олея, не будь его внимание всецело поглощено изучением лица незнакомца. Пристальный взгляд Аллана так смутил Раналда Мак-Ифа, что рука его невольно стала нащупывать рукоятку кинжала, словно он ждал нападения, как вдруг Аллан, перейдя через всю хижину, подошел к нему и подал ему руку в знак дружеского «приветствия». Они уселись рядом и начали о чем-то беседовать вполголоса. Ни Ментейт, ни Ангюс Мак-Олей несколько не были этим удивлены, ибо горцы, почитающие себя ясновидцами, составляют своего рода масонское братство и при встречахверяют друг другу тайны своего пророческого дара.

— Скажи мне, омрачают ли видения твою душу? — спросил Аллан у своего нового знакомца.

— Омрачают, как тень, которая набегает на луну, когда она в середине неба и пророки предвещают недобрые времена.

— Пойди сюда, — сказал Аллан, — отойдем подальше, я хочу поговорить с тобой наедине, ибо я не раз слышал, что на ваших далеких островах видения бывают гораздо более явственными и яркими, нежели у нас, живущих слишком близко к саксам.

Пока они предавались своим мистическим рассуждениям, в хижину вошли два англичанина и радостно объявили Ангюсу Мак-Олею, что уже отдан приказ всем приготовиться к немедленному выступлению на запад. Сообщив эту новость, они весьма любезно приветствовали своего старого знакомого майора Дальгетти, которого они сразу узнали, и осведомились о здоровье его скакуна Густава.

— Покорно благодарю вас, джентльмены, — отвечал майор, — Густав здоров, хотя, как и его хозяин, несколько похудел и ребра его заметно обозначились по сравнению с тем временем, когда вы так любезно предлагали мне от него отделаться в Дарнлинварахе. Впрочем, могу вас заверить, что, прежде нежели вы совершите один или два перехода, к которым вы, по-видимому, готовитесь с большим удовольствием, вам, мои любезные рыцари, придется порастрясти некоторую долю вашего английского мяса и, по всей вероятности, оставить позади парочку-другую английских лошадок.

Оба джентльмена заявили во всеуслышание, что им совершенно безразлично, что они найдут и что оставят позади, лишь бы сдвинуться с мертвой точки и перестать блуждать взад и вперед по графствам Ангюс и Эбердин в погоне за неприятелем, который не хочет ни драться, ни отступать.

— Если поход объявлен, — сказал Ангюс Мак-Олей, — то мне пора отдать приказания своим людям, а также позаботиться об Эннот Лайл, ибо путь во владения Мак-Каллумора будет куда более долгим и опасным, нежели предполагают эти сливки камберлендского рыцарства.

С этими словами он вышел из хижины.

— Эннот Лайл? — удивился Дальгетти. — Разве она участвует в походе?

— Еще бы, — отвечал сэр Джайлс Масгрейв, переводя взгляд с лорда Ментейта на Аллана Мак-Олея, — мы не можем ни тронуться в путь, ни дать сражения, ни наступать, ни отступить без мановения руки нашей царицы арф.

— Царицы мечей и щитов, — сказал бы я, — возразил другой англичанин, — ибо сама леди Монтроз не могла бы пожелать больших почестей: при ней состоят четыре девушки и столько же голоногих пажей, готовых к ее услугам.

— А как бы вы думали? — промолвил Аллан, внезапно обернувшись и прервав разговор с горцем. — Сами вы разве покинули бы невинную девушку, свою подругу детства, на произвол судьбы, под угрозой погибнуть от голода или умереть насильственной смертью? Ныне на доме моих предков не осталось крыши; наши посеы уничтожены, наш скот угнан; и вы должны благодарить господа бога, что, прибыв из менее суровой и более цивилизованной страны, в этой жестокой войне подвергаете опасности лишь свою собственную жизнь, не беспокоясь о том, что враг выместит свою злобу на беззащитных семьях, оставленных дома, Англичане добродушно согласились с тем, что в этом отношении все преимущества на их стороне, после чего все разошлись и вернулись к своим делам и обязанностям.

Аллан несколько задержался, продолжая расспрашивать неохотно отвечавшего ему Раналда по поводу одного обстоятельства в своих видениях, которое его крайне удивляло.

— Неоднократно, — говорил Аллан, — посещало меня видение горца, который вонзал свой нож в грудь Ментейта, того молодого дворянина в расшитом золотом алом плаще, который только что вышел отсюда. Но как я ни старался, хотя всматривался до тех пор, пока мои глаза чуть не вылезали из орбит, я не мог разглядеть лицо этого горца или хотя бы догадаться, кто бы это мог быть; а между тем его облик казался мне хорошо знакомым.

— А не пробовал ли ты перевернуть свой плед, — спросил Раналд, — как это делают опытные ясновидцы в таких случаях?

— Пробовал, — отвечал Аллан глухим голосом и содрогаясь, словно от душевной боли.

— Ив каком обличье являлся призрак? — спросил Раналд.

— Тоже с перевернутым пледом, — отвечал Аллан так же глухо и встревоженно.

— Так знай же, — молвил Раналд, — что твоя собственная рука, и ничья другая, совершит деяние, чья тень привиделась тебе.

— Сто раз эта мысль смущала меня, — отвечал Аллан, — но этого не может быть! Если бы даже я сам прочел это пророчество в книге судеб, я сказал бы все то же: этого не может быть! Мы связаны кровными узами и еще во сто крат более тесными узами: мы стояли плечом к плечу в сражении, и наши мечи обгалялись кровью общего врага... Нет, этого не может быть, чтобы я поднял руку на него!

— И все же это будет, — сказал Раналд, — хотя причина твоего деяния скрыта во мраке грядущего. Ты говоришь, — продолжал он, с трудом подавляя собственное волнение, — что, подобно охотничьим псам, вы плечом к плечу преследовали добычу... А разве ты никогда не видел, как псы кидаются друг на друга и грызутся над трупом поверженного оленя!

— Это ложь! — воскликнул Аллан, вскакивая с места. — Это не предзнаменование неизбежной судьбы, а искушение злого духа, восставшего из адской бездны!

С этими словами он поспешно вышел из хижины.

— Поделом тебе! — сказал Сын Тумана, торжествуя, глядя ему вслед. — Зазубренная стрела вошла тебе под ребро! Души убиенных, возвеселитесь! Ибо недалеко то время, когда мечи ваших убийц обагрятся их же собственной кровью!

На следующее утро все было готово, и Монтроз быстрым маршем повел войска вверх по течению реки Тэй. Его отряды беспорядочным потоком разлились по живописной долине озера Тэй, у истоков реки того же названия. Местность эта была населена Кэмбелами, но не вассалами Аргайла, а потомками другой ветви родственного дома Гленорхи, ныне известной под именем Брэдалбейнов. Захваченные врасплох, они не могли оказать никакого сопротивления, и им пришлось быть безучастными свидетелями того, как угоняли их стада. Продвигаясь таким образом в направлении озера Лох-Дохарт и разоряя все на своем пути, Монтроз дошел до того места, откуда начинался самый трудный этап его похода.

Для современной армии, даже при наличии хороших военных дорог, которые сейчас ведут через Теиндрам к истокам озера Лох-Оуи, переход по обширным горным пустыням был бы делом весьма затруднительным. Но в те времена, и еще долгое время спустя, в этих местах вообще не было ни тропок, ни дорог, и, в довершение всего, горы-были уже покрыты снегом. Величественное зрелище являли собой эти горные массивы, уступами громоздившиеся друг на друга; первые ряды их сверкали ослепительной белизной, тогда как на более отдаленных вершинах лежал розоватый отблеск заходящего зимнего солнца. Самая высокая вершина, Бен Круахан, словно твердыня горного духа, высилась над цепью гор, и ее сверкающий белизной конус был виден на много миль вокруг.

Солдаты Монтроза не принадлежали к числу людей, которых могла бы утратить величественная и грозная картина, развернувшаяся перед ними. Многие из них принадлежали к той древней породе горцев, которые не только охотно улеглись бы спать на снегу, но сочли бы излишней роскошью подложить себе под голову ком снега вместо подушки. Кровавая месть и богатая добыча ожидали их по ту сторожу снеговых гор, и их не пугали никакие трудности перехода. Кроме того, Монтроз не давал им пасть духом. Он приказал волынщикам идти в авангарде и играть старинный шотландский пиброх под названием «Hoggil nam bo» (что означает; «По снежным сугробам мы идем за добычей...»), пронзительные звуки которого так часто утрашали жителей долины Леннокс. Войска продвигались с быстротой, присущей горцам, и вскоре углубились в опасный проход, через который Раналд взялся их провести; старик шел впереди войска с небольшим отрядом разведчиков.

Силы человека кажутся особенно ничтожными, когда они противостоят величю грозных стихийных сил. Победоносная армия Монтроза, наводившая ужас на всю Шотландию, теперь, пробиваясь через этот страшный горный проход, казалась ничтожной горсточкой скитальцев, которых вот-вот поглотит разверстая пасть ущелья, готовая сомкнуться за ними. Сам Монтроз уже начинал было раскаиваться своей дерзкой затее, когда, взглянув вниз с высоты первой достигнутой им вершины, он увидел свою разбросанную по склонам маленькую армию. Трудность продвижения вперед была столь велика, что линия войска сильно растягивалась и промежутки между авангардом, центром и арьергардом становились все больше, — это было и неудобно и опасно. Монтроз с беспокойством вглядывался в каждый выступ скалы, опасаясь, что за ним притаился неприятель, готовый защищаться, и впоследствии он неоднократно повторял, что если бы Страт-Филланский перевал был защищен сотней-другой мужественных людей, то это не только приостановило бы его наступление, но вся его армия подверглась бы опасности быть уничтоженной. Однако беззаботность, погубившая не одну сильную страну и надежную крепость, предала и на сей раз владения Аргайла в руки его врагов. Вторгшемуся неприятелю приходилось считаться на своем пути только с естественными препятствиями и со снегопадами, которые, на его счастье, не были слишком обильными. Как только армия Монтроза достигла вершины горного хребта, отделяющего Дргайлшир от Брэдалбейнского округа, она ринулась вниз и напала на открывшиеся перед нею долины с яростью, не оставляющей сомнений в том, какие намерения побудили горцев

совершить этот трудный и чреватый опасностями поход.

Монтроз разделил свою армию на три отряда, дабы захватить большее пространство и посеять большую панику: одним из отрядов командовал предводитель клана Раналд, второй был поручен командованию Колкитто, а третий остался под начальством самого Монтроза. Затем он проник во владения Аргайла с трех сторон. Никакого сопротивления оказано не было. Первые вести о вражеском нашествии принесли пастухи, бежавшие с горных пастбищ, где были застигнуты врасплох; жители не выступили на защиту своих владений, они были рассеяны, обезоружены, убиты неприятелем. Майор Дальгетти, посланный вперед, на приступ Инверэри, с тем небольшим отрядом конницы, которым располагало войско, действовал настолько успешно, что чуть не захватил самого Аргайла, как о» выражался, *inter rosula*, и только стремительное бегство на галере спасло маркиза от смерти или позорного плена. Но бедствия, которых избежал Аргайл, обрушились всею тяжестью на его клан и на его владения. Опустошение, произведенное Монтрозом в этом злосчастном краю, хоть и вполне отвечало духу времени и обычаям страны, однако справедливо отмечается историками как темное пятно на деяниях и личности Монтроза.

Между тем Аргайл явился в Эдинбург и подал жалобу парламенту. Правительство немедленно собрало значительную армию под командованием генерала Бэйли, способного и надежного сторонника парламента, разделившего свои полномочия с прославленным сэром Джоном Урри, наемным воином, как и Дальгетти, который уже дважды за время гражданской войны успел перейти со стороны на сторону и которому суждено было до ее окончания переметнуться еще и в третий раз. Со своей стороны Аргайл, пылая негодованием, приступил к набору своих собственных многочисленных войск, чтобы отплатить заклятому врагу. Его главный штаб находился в Данбартоне, где вскоре собрался большой отряд, состоявший преимущественно из его родичей, подчиненных и слуг. Соединившись с Бэйли и Урри, подоспевшими туда же во главе весьма значительных регулярных сил, Аргайл приготовился к походу на Аргайлшир, намереваясь жестоко покарать дерзкого захватчика его наследственных владений.

Но в то время как эти две грозные армии соединились для совместного наступления, Монтроз вынужден был покинуть разоренный им край, ибо узнал о приближении третьей армии, созданной на севере под командованием графа Сифорта, который после некоторых колебаний стал на сторону парламента и с помощью испытанных воинов Инвернесского гарнизона, собрав большое войско, угрожал теперь Монтрозу из Инвернесшира. Отрезанный в разоренном и враждебно настроенном краю, теснимый со всех сторон превосходящими силами наступающего неприятеля, Монтроз очутился в трудном положении, и гибель его казалась неминуемой. Но именно при этих обстоятельствах деятельная и решительная натура великого маркиза проявилась во всем своем блеске, вызвав восторг и ликование его друзей и ужас и изумление его врагов. Словно по волшебству, Монтроз собрал свое рассеянное по всему графству войско, занятое грабежом и разбоем. И едва лишь оно было собрано, как Аргайл и его союзники — правительственные генералы — получили сведения, что роялисты, внезапно покинув пределы Аргайлшира, отступили на север и ушли в безлюдные и непроходимые Лохэберские горы.

Военачальники, сражавшиеся против Монтроза, тотчас же поняли, что план его заключается в том, чтобы дать сражение Сифорту и по возможности уничтожить его войско прежде, чем они успеют подойти к нему на выручку. Это вызвало соответствующие изменения в их стратегических планах. Предоставив Сифорту самому разделяться с Монтрозом, Урри и Бэйли вновь отделили свои войска от ополчения Аргайла; имея под своей командой преимущественно конницу и части южно-шотландской армии, они двинулись вдоль южного склона Грэмпиенского горного хребта к востоку, в графство Ангюс, с намерением пробраться оттуда в Эбердиншир, наперерез Монтрозу, в случае если он сделает попытку ускользнуть в этом направлении.

Аргайл со своим кланом и прочими отрядами решил идти следом за Монтрозом, дабы Монтроз, с кем бы ему ни пришлось сражаться — с Сифортом или Бэйли и Урри, — оказался между двух огней благодаря этой третьей армии, которая на безопасном расстоянии станет угрожать ему с тыла.

С этой целью Аргайл снова двинулся в сторону Инверэри, на каждом шагу убеждаясь в необычайной жестокости, с какой враждебные ему кланы расправлялись с его людьми и разоряли его владения. И каковы бы ни были благородные чувства горцев, — а такие чувства у них были, — милосердия к побежденным они не знали. Но именно благодаря этому безжалостному опустошению страны войско пополнялось новыми сторонниками. Среди горцев и по сию пору существует поговорка: «Чей дом сожжен — тот должен стать солдатом», и сотни оставшихся без крова жителей этих злополучных гор и долин не видели теперь иного выхода, как обрушить на других все бедствия, которые им самим пришлось претерпеть, и иного счастья в будущем — кроме сладости мщения.

Таким образом, войска Аргайла пополнялись благодаря тем самым обстоятельствам, которые послужили к разорению его страны, и вскоре Аргайл очутился во главе трех тысяч храбрых и энергичных солдат под началом дворян из его собственного рода, славившихся своей доблестью. Его ближайшими помощниками были сэры Дункан Кэмбел Арденвор, и сэры Дункан Кэмбел Охенбрэк — опытный и закаленный в боях воин, которого он нарочно для этого отозвал из Ирландии, где в ту пору шла война. Трезвый ум самого Аргайла, однако, умерял воинственный пыл его более отважных соратников, и было решено, несмотря на усиление армии, придерживаться прежнего плана действия, а именно: осторожно преследовать Монтроза, куда бы он ни направился, избегая столкновений, пока не представится удобный случай на пасть на него с тыла в то время, как он будет с фронта отбиваться от другого врага.

## Глава 18

Песнь походная

Доналда Черного,

Песнь походная

Черного Доналда,

Чу! Волынки! Развернуто знамя

На свиданье друзей в Инверлохи.

Военная дорога, соединяющая цепь укреплений и идущая в направлении Каледонского канала, в настоящее время открыла доступ в горную долину, вернее — глубокую расселину, пересекающую почти весь остров; некогда эта расселина, несомненно, представляла собой морской залив, и до сего времени в ней сохранилась система озер, посредством которых современная техника соединила Северное море с Атлантическим океаном. Дороги и тропинки, по которым местные жители обычно пробирались через эту обширную горную долину, зимой 1645 — 1646 годов находились в том же состоянии, в каком их впоследствии застал некий ирландский военный инженер, которому было предложено преобразовать их в удобные военные дороги. Панегирик ему начинается и, насколько мне помнится,

заканчивается следующим двустишием:

Взглянуть бы вам, что было здесь до Уэда.

Дороги эти — рук его победа.

Но как ни были плохи эти дороги, Монтроз избегал даже их и вел свою армию, точно стадо диких оленей, с горы на гору, из чащи в чащу, так что врагу невозможно было выследить его передвижения. В то же время сам Монтроз имел точнейшие сведения о неприятеле — благодаря дружественно расположенным к нему кланам Камеронов и Мак-Донелов, через горные владения которых следовала его армия. Был отдан строжайший приказ следить за передвижениями войск Аргайла, и все сведения о его приближении должны были немедленно сообщаться самому главнокомандующему.

Была лунная ночь, и Монтроз, в полном изнеможении после дневного перехода, лег спать в жалкой лачуге, служившей ему палаткой. Он проспал не более двух часов, когда кто-то дотронулся до его плеча. Открыв глаза, он по статной фигуре и глухому голосу сразу узнал вождя клана Камеронов.

— У меня есть новости для вас, — проговорил вошедший, — они заслуживают того, чтобы вы встали и выслушали их.

— Иных нельзя и ожидать от Мак-Илду, — отвечал Монтроз, называя вождя его родовым именем. — Хорошие вести или дурные?

— Решайте сами, — сказал Мак-Илду.

— А достоверны ли они? — спросил Монтроз.

— Да, — отвечал Мак-Илду, — иначе их сообщил бы вам кто-нибудь другой... Так знайте же: мне наскучило сопровождать этого злосчастного Дальгетти с его горсточкой конницы, которая задерживает меня на целые часы и заставляет плестись со скоростью хромого барсука, — и я, захватив с собой шестерых своих людей, ушел за четыре мили вперед, в направлении Инверлохи; тут мне повстречался Ян Гленрой, который ходил в разведку. Аргайл идет на Инверлохи — во главе трехтысячного войска отборных солдат под начальством самых доблестных Сынов Диармида. Вот мои вести — они достоверны. Добрые это вести или дурные — решайте сами.

— Разумеется, добрые, — живо и весело отвечал Монтроз, — голос Мак-Илду всегда приятен для слуха Монтроза, и особенно приятен, когда предрекает хорошую схватку. Сколько нас числом?

Он приказал подать огня и без труда удостоверился в том, что большая часть его войска, как обычно, разошлась по домам, чтобы припрятать свою добычу, и при нем осталось всего каких-нибудь тысяча двести — тысяча четыреста человек.

— Немногим больше одной трети армии Аргайла, — сказал Монтроз, помолчав, — и притом горцы против горцев! С божьей помощью и во славу короля я бы не колеблясь дал сражение, будь у меня хоть один против двух.

— Тогда отбросьте колебания, — сказал Камерон, — ибо когда ваши трубы протрубят сбор к нападению на Мак-Каллумора, ни один человек в наших ущельях не останется глух к этому призыву. Гленгарри, Киппох, я сам — все мы готовы огнем и мечом поразить того негодяя, который посмел бы под любым предлогом отстать от нас. Завтра или послезавтра настанет день великой битвы, и каков бы ни был исход, всякий, кто носит имя Мак-Донелов или Камеронов, будет принимать в ней участие.

— Хорошо сказано, мой благородный друг, — промолвил Монтроз, пожимая ему руку. — И я был бы просто трусом, если бы, имея таких союзников, посмел еще сомневаться в успехе! Мы повернем обратно и пойдем навстречу Мак-Каллумору, который преследует нас по пятам, как ворон, надеясь расклевать остатки нашей армии, если более храбрый враг сумеет одолеть ее! Велите созвать всех вождей и начальников, а вы, первый принесший нам весть о столь радостном событии — ибо оно будет таковым! — вы, Мак-Илду, укажете нам лучшую и наикратчайшую дорогу.

— С охотой, — отвечал Мак-Илду. — Если я указал вам путь, по которому вы могли отступить в этой пустыне, то теперь я тем охотнее научу вас, как пробиться навстречу врагу!

Началась всеобщая суматоха, и по всему лагерю вожди кланов торопливо подымались со своих жестких постелей, на которых искали хоть краткого отдыха.

— Вот уж не думал, — сказал майор Дальгетти, поднятый с ложа, состоявшего из охапки вереска, — что так трудно расставаться с постелью, ничуть не менее жесткой, нежели веник, которым подметают конюшню. Но, конечно, имея в своей армии всего лишь одного-единственного человека, по-настоящему сведущего в военном деле, его светлость маркиз волей-неволей должен возлагать на меня тяжелые обязанности.

Рассуждая таким образом, он явился на военный совет, где Монтроз обычно выслушивал майора довольно внимательно, несмотря на его многословие и педантизм, — отчасти потому, что Дальгетти, и в самом деле, обладал хорошим знанием военного дела и большим опытом, а отчасти потому, что это избавляло Монтроза от необходимости всецело присоединяться к мнениям горных вождей и давало ему лишние основания оспаривать эти мнения, когда они противоречили его собственным взглядам. Узнав, о чем идет речь, Дальгетти радостно приветствовал предложение повернуть навстречу Аргайлу; он сравнил этот план с отважным решением великого Густава Адольфа, когда тот напал на герцога Баварского и дал возможность своим войскам пожить в этой плодородной стране, несмотря на то, что с севера ему угрожала огромная армия Валленштейна, набранная в Богемии.

Предводители Гленгарри, Киппox и Лохил, чьи кланы, известные своей храбростью и военной доблестью, жили по соседству с предполагаемым театром военных действий, послали огненный крест своим вассалам, призывая каждого, кто мог владеть оружием, явиться к наместнику короля и стать под знамена своих вождей в походе на Инверлохи. Приказ был дан весьма торжественно и выполнен быстро и охотно. Воинственный дух горцев, их преданность королю, — ибо в их глазах король был вождем, которому изменили члены его клана, — а также их слепое повиновение воле предводителей привлекли в войска Монтрева не только всех жителей в округе, которые способны были носить оружие, но даже некоторых из тех, кто по своему возрасту мог бы уже считаться неспособным владеть им. В первый день похода, когда армия двигалась напрямик через горы Лохэбера, о чем неприятель даже и не подозревал, силы Монтроза продолжали расти; из каждого ущелья выходили люди и вливались в ряды войска, становясь под знамена своих вождей. Эти пополнения поднимали дух армии, ибо вскоре оказалось, что численность ее увеличилась более чем на одну четверть, как и предсказывал доблестный вождь клана Камеронов.

Тем временем Аргайл во главе своего храброго войска продвинулся вдоль южного берега озера Лох-Ил и дошел до реки Лохи, соединяющей это озеро с озером Лох-Лохи. Старинный замок Инверлохи, некогда, по преданию, королевская крепость, все еще представлял собой надежное укрытие для главной квартиры, а в окрестной долине, где река Лохи вливается в озеро Лох-Ил, было достаточно места для того, чтобы армия Аргайла могла стать здесь лагерем. На баржах был подвезен провиант, так что во всех отношениях армия находилась в самых выгодных условиях, каких можно бы желать и ожидать. Аргайл, совещаясь с Охенбрэком и Арденвором, высказал полную уверенность в том, что Монтроз на краю гибели, что войско его будет таять по мере продвижения на восток по трудным дорогам; что если он



двинется на запад, он наткнется на Урри и Бэйли; если на север, то попадет в лапы Сифорта; а если он вздумает где-нибудь остановиться, то будет атакован всеми тремя армиями сразу.

— Меня отнюдь не радует, милорд, что Джеймс Грэм будет разбит без нашего участия, — сказал Охенбрэк. — Он оставил в Аргайлшире такую память по себе, что я сгораю от нетерпения рассчитаться с ним за каждую каплю пролитой им крови. Я не люблю платить такие долги чужими руками.

— Вы слишком щепетильны, — отвечал Аргайл. — Не все ли равно, от чьей руки прольется кровь Грэмов? Важно одно, чтобы перестала литься кровь Сынов Диармида. А вы как думаете, Арденвор?

— Я полагаю, милорд, — отвечал сэр Дункан, — что желание Охенбрэка скоро исполнится и он будет иметь полную возможность лично свести свои счета с Монтрозом. До наших аванпостов дошли сведения, будто Камероны стягивают все свои силы в отрогах Бен-Невиса; по-видимому, они идут на соединение с Монтрозом, а отнюдь не собираются прикрывать его отступление.

— Они попросту замышляют какой-нибудь набег, — сказал Аргайл. — Все это козни Мак-Илду, которые он именует «преданностью королю». Они, по-видимому, рассчитывают просто напасть на наши аванпосты или помешать нашему завтрашнему переходу.

— Я выслал лазутчиков по всем направлениям, — сказал сэр Дункан, — чтобы получить самые точные сведения; мы скоро узнаем, правда ли, что они сосредоточивают свои силы, где именно и с какими намерениями.

До позднего часа не было никаких вестей; и лишь когда вошла луна, заметная суeta в лагере и вслед за тем шум в самом замке возвестили о том, что получены важные сообщения. Некоторые из лазутчиков, высланных Арденвором, возвратились, не собрав никаких сведений, кроме неясных слухов о каком-то движении во владениях Камеронов. Говорили, будто в отрогах Бен-Невиса слышатся те непонятные и зловещие звуки, которыми горцы иногда предупреждают о надвигающейся буре. Другие разведчики, чье усердие завело их дальше в глубь страны, были изловлены и убиты или уведены в плен жителями ущелий, в которые они пытались проникнуть. В конце концов, ввиду быстрого продвижения вперед армии Монтроза, его авангард наткнулся на аванпосты Аргайла, и после небольшой перестрелки из мушкетов и арбалетов обе стороны отступили к своим главным силам, чтобы сделать донесение и получить дальнейшие приказания.

Сэр Дункан Кэмбел и Охенбрэк немедленно вскочили на коней и помчались проверять аванпосты, между тем как Аргайл поддержал свою славу опытного главнокомандующего, выстроив главные силы на равнине, ибо было совершенно ясно, что атаки следует ждать в ту же ночь или не позднее утра. Монтроз с такими предосторожностями расположил свои войска в горных ущельях, что никакие попытки, предпринятые Охенбрэком и Арденвором, не помогли им установить в точности силы противника. Однако можно было предполагать, что при любом подсчете силы Монтроза все же меньше их собственных, и они возвратились к Аргайлу, чтобы сообщить ему свои соображения; но сей вельможа отказался поверить, что Монтроз сам ведет против него войско. Это было бы чистым безумием, уверял он, на какое не способен даже Джеймс Грэм при всей своей безрассудной самонадеянности, и Аргайл не сомневался в том, что имеет против себя лишь своих исконных врагов — Гленко, Киппоха и Гленгарри; или же что Мак-Вориф с Макферсонами собрали отряд, значительно меньший по численности, нежели его собственное войско, — а следовательно, ему быстро удастся рассеять его или заставить капитулировать.

Сторонники Аргайла были настроены очень бодро и пылали жадной мщениия за разгром, которому недавно подверглась их страна; ночь прошла в тревожном ожидании и в надежде,

что вместе с зарею наступит желанный час возмездия. На аванпостах обеих армий стояли недремлющие часовые, и солдаты Аргайла спали в том боевом порядке, которого должны были держаться на следующий день.

Бледные лучи занимающегося утра едва осветили вершины горных громад, когда военачальники обеих армий начали готовиться к предстоящему бою. Это было второго февраля 1646 года. Войска Аргайла были выстроены в две шеренги неподалеку от того места, где река, впадая в озеро, образует угол, и являли зрелище внушительное и грозное. Охенбрэк охотно начал бы сражение, атаковав аванпосты неприятеля, но Аргайл, придерживаясь более осторожной тактики, предпочитал принять бой, нежели наступать самому. Вскоре послышались сигналы, возвещающие о том, что им недолго придется ждать. Кэмбелы услышали доносившиеся из горных ущелий воинственные напевы различных кланов, идущих в атаку. Громко отдавался в горах боевой клич Камеронов, начинающийся зловещим обращением к волкам и воронам:

«Идите ко мне, и я накормлю вас мертвечиной». Клан Гленгарри не оставался безмолвным, отчетливо звучал его воинственный призыв на языке шотландских бардов; и уже явственно можно было разобрать звуки боевых маршей других кланов, появляющихся на выступах гор, откуда они начинали спускаться в долину.

— Вот видите, — сказал Аргайл своим приближенным, — я вам говорил, что нам придется иметь дело только с нашими соседями. Джеймс Грэм не посмел показать нам свое знамя.

В это самое мгновение раздались громкие звуки труб, игравших туш, которым шотландцы, по заведенному издревле обычаю, приветствовали королевский штандарт.

— По этому сигналу вы можете судить, милорд, — промолвил сэр Кэмбел, — что тот, кто выдает себя за наместника короля, находится среди своих солдат.

— И он, по-видимому, ведет за собой конницу, — присовокупил Охенбрэк, — чего я не предполагал. Но неужели это устрашит нас, милорд, когда перед нами враг, которому мы должны отомстить за обиды?

Аргайл молчал, поглядывая на свою руку, висевшую на перевязи после неудачного падения с лошади во время последнего перехода.

— Воистину, милорд, — с жаром воскликнул Арденвор, — вы в настоящее время не можете владеть ни мечом, ни пистолетом! Вам необходимо удалиться на галеру; ваша жизнь дорога нам, ибо вы мозг нашего клана... Ваша рука, рука воина, не может сей-час быть нам полезна.

— Нет, — отвечал Аргайл, в душе которого гордость боролась с малодушием.

— Да не посмеет никто, сказать, что маркиз Аргайл бежал перед Монтрозом. Если я не могу сражаться, то по крайней мере я хочу умереть среди своих сынов.

Прочие вожди клана Кэмбелов в один голос заклинали и умоляли своего главнокомандующего предоставить на сей день командование Арденвору и Охенбрэку и наблюдать за сражением издали, находясь в безопасности. Мы не решаемся запятнать честь Аргайла, обвинив его в трусости, ибо, хотя его жизненный путь и не был отмечен особыми подвигами, он с таким достоинством и хладнокровием держался в час своей трагической смерти, что поведение его в этой битве, как и в некоторых других случаях, следует скорее приписать нерешительности, нежели недостатку мужества. История знает, немало таких примеров: когда глухому, несмелому голосу сердца, нашептывавшему человеку, что его жизнь еще нужна ему, вторят голоса окружающих, уверяя, что жизнь его не менее нужна для общего блага — даже более отважные люди, нежели Аргайл, могут поддаваться искушению.

— Прошу вас, проводите его до галеры, сэр Дункан, — сказал Охенбрэк своему родичу, — долг обязывает меня позаботиться о том, чтобы его нерешительность не передалась кому-нибудь из нас.

С этими словами он устремился в ряды воинов, уговаривая, приказывая и заклиная их помнить о своей былой славе и нынешнем превосходстве; помнить о мщении, которым они насладятся в случае успеха, и не забывать об участии, которая ожидает их в случае поражения; пламенными словами старался он заронить в души солдат искру того огня, который горел в его груди. Тем временем Аргайл медленно, как бы нехотя, следовал за своим услужливым родичем, увлекавшим его на берег озера, откуда его препроводили на галеру; стоя на палубе, он — правда, без риска, зато и без славы — наблюдал за развернувшимися в долине боевыми действиями.

Несмотря на то, что времени терять было нельзя, сэр Кэмбел Арденвор постоял на берегу, провожая глазами корабль, увозивший его военачальника с поля сражения. Трудно выразить словами чувства, волновавшие его в ту минуту: предводитель рода был как бы отцом всего клана, и ни один из членов его не дерзал судить своего вождя, как судил бы любого другого из смертных. К тому же Аргайл, жестокий и суровый с чужими, был щедр и милостив к своим родичам, и благородное сердце рыцаря Арденвора обливалось кровью при мысли о том, как будет истолковано поведение маркиза.

«Может быть, так оно и лучше, — мысленно произнес он, стараясь подавить волнение. — Но.., из сотни его предков я не знаю ни одного, кто покинул бы поле сражения, пока реет знамя Диармидов, угрожая заклятому врагу».

Громкие крики заставили его оглянуться, и он поспешил возвратиться на свой пост на правом фланге небольшой армии Аргайла.

Отсутствие Аргайла не прошло незамеченным и для его бдительного врага, который, занимая позицию на более возвышенном месте, мог наблюдать за всем, что происходило внизу. Увидев нескольких всадников, скачущих в направлении озера, он понял, что отступающие — люди высокого звания.

— Они уводят лошадей подальше, чтобы уберечь их от опасности, — заметил Дальгетти, — как это делают все осмотрительные воины. Вон сэр Дункан Кэмбел на гнедом мерине, которого я облюбовал себе в качестве запасного коня.

— Вы ошибаетесь, майор, — возразил Монтроз с презрительной усмешкой, — они спасают своего драгоценного вождя. Немедленно дайте сигнал к атаке! Передайте приказ по рядам! Благородные вожди Гленгарри, Киппох, Мак-Вориф — вперед! Майор Дальгетти, скачите к Мак-Илду и скажите ему, чтобы он немедленно наступал, и возвращайтесь обратно ко мне с нашей конницей: пусть она вместе с ирландцами останется в резерве.

## Глава 19

Как пену тысячной волны -

Утес, так встретил Инисфейла

Лохлин, Оссиан

Трубы и волынки, эти громогласные глашатаи кровопролития и смерти, грянули разом, подавая сигнал к наступлению; им в ответ раздался дружный крик более двух тысяч воинов и звонкое эхо, прокатившееся по горам и долам позади них. Воины Монтроза тремя колоннами устремились вниз из темных ущелий, скрывавших их до сих пор от взора неприятеля, и с отчаянной решимостью бросились на Кэмбелов, стойко ожидавших нападения. За атакующими колоннами под начальством Колкитто шли ирландцы, составлявшие резерв. Они несли королевский штандарт; тут же был сам Монтроз; с флангов, под командой Дальгетти, шла конница, около пятидесяти всадников, каким-то чудом сохранившая относительную боеспособность.

Правую колонну роялистов вел Гленгарри, левую — Лохил, а центром командовал граф Ментейт, который предпочел сражаться в пешем строю в одежде горца, нежели оставаться в тылу в рядах конницы.

С дикой яростью, вошедшей в поговорку, горцы стремительно бросились в атаку; они стреляли из ружей и выпускали свои стрелы почти в упор по неприятелю, который мужественно выдерживал их натиск. Будучи лучше вооружены огнестрельным оружием, нежели противник, и стоя на месте, — следовательно, имея возможность вернее целиться, — сторонники Аргайла наносили своим огнем гораздо больше урона, нежели терпели сами. Убедившись в этом, роялистские кланы бросились в рукопашный бой и в двух местах смяли ряды неприятеля. В сражении с регулярными войсками это привело бы к победе; но здесь горцы шли против горцев, и род оружия, а также искусство владеть им были одинаковы с обеих сторон.

Схватка была отчаянной. Лязг сталкивающихся мечей и звон щитов под ударами секир смешивались с дикими криками горцев, которые они обычно выпускают во время боя, пляски и любого состязания в силе. Многие противники были знакомы между собой и старались перещеголять друг друга либо из личной ненависти, либо из более благородного чувства — соревнования в доблести. Ни одна из сторон не уступала ни пяди, и места убитых (а убитых было немало с обеих сторон) тотчас же занимали другие воины, рвавшиеся в первые ряды, навстречу опасности. Пар, точно от кипящего котла, поднимался в зимнем морозном воздухе и носился над сражающимися.

Так обстояло дело на правом фланге и в центре, без какие-либо решительных результатов, кроме множества убитых и раненых с той и другой стороны.

На правом фланге Кэмбелов рыцарь Арденвор добился некоторого преимущества благодаря своему боевому опыту и численному превосходству сил. Он обошел роялистов с фланга в тот момент, когда они ринулись в атаку, так что они очутились под перекрестным огнем с фронта и тыла и, несмотря на отчаянные усилия их начальника, пришли в замешательство. Тогда сэръ Дункан отдал приказ атаковать неприятеля и, таким образом, совершенно неожиданно перешел в наступление в ту самую минуту, когда, казалось, он сам должен подвергнуться нападению. Подобная перемена положения всегда вносит смятение и часто приводит к роковым последствиям. Но тут подоспели ирландцы, бывшие в резерве, и под их сильным и непрерывным огнем рыцарь Арденвор потерял свое преимущество и вынужден был удовлетвориться оборонительными действиями. Тем временем маркиз Монтроз, пользуясь прикрытием редкого березняка и дыма, поднимавшегося над полем от частых залпов ирландских мушкетов, крикнул Дальгетти, чтобы тот следовал за ним со своей конницей, и, зайдя с правого фланга, или даже в тыл врага, приказал шести трубачам трубить атаку. Звуки кавалерийских труб и топот скачущей конницы произвели на правом фланге Аргайла такое смятение, какого де могли бы произвести никакие иные звуки. В те времена горцы испытывали, подобно перуанцам, суеверный страх перед конницей и имели довольно своеобразное представление о том, каким способом обучают коней военному ремеслу. Поэтому, как только ряды их оказались внезапно смятыми и среди них появились существа, внушавшие им смертельный страх, всеобщая паника охватила горцев, несмотря на все

попытки сэра Дункана образумить их. Поистине достаточно было одного майора Дальгетти, закованного в непроницаемые доспехи и поднимавшего Густава на дыбы, что делало более увесистым каждый его удар, чтобы новизна этого зрелища устрашила тех, кто никогда не видел ничего похожего на верхового коня, если не считать низкорослой лошадки, ковыляющей под тяжестью горца, вдвое выше ее самой.

Отброшенные было роялисты вновь перешли в наступление; ирландцы, сохраняя строй, поддерживали непрерывный и сокрушительный огонь. Сторонники Аргайла не устояли: смешав ряды, они обратились в бегство, большая часть бежала по направлению к озеру, остальные бросились врассыпную. Поражение правого фланга, само по себе решающее, оказалось непоправимым из-за смерти Охенбрэка, который пал, пытаясь восстановить порядок.

Рыцарь Арденвор, собрав отряд в две-три сотни человек, преимущественно знатных дворян, славившихся своей доблестью (считалось, что в роду Кэмбелов больше знатных дворян, нежели в любом другом из горных кланов), с беспримерным мужеством пытался прикрыть беспорядочное отступление своих солдат. Но это только привело к гибели их же самих, ибо противник вновь и вновь нападал со свежими силами, разъединяя их и принуждая отбиваться поодиночке, пока наконец им больше ничего не оставалось, как дорого продать свою жизнь, оказывая врагу сопротивление до последнего дыхания.

— Почетный плен, сэр Дункан! — воскликнул Дальгетти, увидев своего недавнего радушного хозяина, с двумя родичами отбивавшегося от нескольких теснивших их горцев. Дабы подкрепить свое предложение, майор подскочил к нему с поднятым палашом. Вместо ответа сэр Дункан выстрелил в него в упор из пистолета, но пуля, не задев Дальгетти, попала прямо в сердце благородного Густава, и тот, мертвый, рухнул на землю. Раналд Мак-Иф, бывший среди горцев, теснивших сэра Дункана, воспользовался этим случаем, чтобы сразить старого рыцаря своим мечом в то мгновение, когда тот отвернулся, чтобы выстрелить в майора.

Но тут появился Аллан Мак-Олей. Кроме Раналда, все горцы, сражавшиеся в этой части поля, были из отряда его старшего брата.

— Мерзавцы! — закричал Аллан. — Кто из вас посмел это сделать, когда я строго-настрого приказал захватить рыцаря Арденвора живым?

Полдюжины ловких рук, спешивших обогнуть поверженного рыцаря, оружие и роскошная одежда которого вполне соответствовали его высокому званию, мгновенно прекратили свое занятие, и в то же время три голоса стали наперебой оправдываться, сваливая всю вину на «островитянина», как они называли Раналда Мак-Ифа.

— Проклятый пес! — крикнул Аллан, в порыве гнева забывая о том, что Раналд его собрат по ясновидению. — Ступай вперед и не смей его больше трогать, если не хочешь погибнуть от моей руки!

Теперь они были почти наедине, ибо угрозы Аллана Мак-Олея разогнали людей его клана, а все прочие устремились к озеру, сея ужас и смятение на своем пути и оставляя позади только убитых и умирающих. Искушение было слишком велико для мстительной натуры Мак-Ифа, — Моя смерть от твоей руки, по локоть обгащенной кровью моих родичей, — произнес он, отвечая на угрозу Аллана не менее угрожающим тоном, — не более вероятна, чем твоя гибель от моей руки! — И в ту же минуту он нанес Аллану удар столь молниеносно, что тот едва успел подставить свой щит.

— Негодяй! — воскликнул Аллан. — Что это значит?

— Я Раналд, Сын Тумана! — отвечал мнимый островитянин, нанося Аллану второй удар, и между ними завязалась отчаянная борьба. Но, видимо, Аллану на роду было написано карать

сынов этого дикого племени в отмщение за страдания своей матери, ибо исход этой схватки был такой же, как и всех предыдущих. После нескольких яростных ударов с той и другой стороны Раналд Мак-Иф упал, тяжело раненный в голову, и Мак-Олей, наступив ему на грудь ногой, намеревался пронзить его палашом, как вдруг кто-то сильным толчком отвел клинок смертоносного оружия. Это сделал не кто иной, как Дальгетти, который, будучи оглушен падением и придавлен мертвым телом своего коня, только сейчас высвободил из-под него свои ноги и окончательно пришел в себя.

— Уберите прочь оружие, — сказал он Аллану, — и не трогайте этого человека, ибо он состоит на службе у его светлости маркиза Монтроза, и здесь я отвечаю за его безопасность! И должен вам сказать, что, по военным законам, ни один честный воин не имеет права во время сражения сводить свои личные счеты, — *flagrante bello, multo majus flagrante pro-elio*.

— Глупец! — сказал Аллан. — Поди прочь и не дерзай становиться между тигром и его добычей!

Но, вместо того чтобы повиноваться, Дальгетти перешагнул через простертого на земле Мак-Ифа и дал понять Аллану, что если тот называет себя тигром, то ему придется иметь дело со львом. Этого было вполне достаточно, чтобы вся ярость воинственного ясновидца обрушилась на того, кто помешал ему утолить свою жажду мщения, и между обоими противниками завязалась жестокая драка.

Схватка между Алланом и Раналдом прошла незамеченной, ибо личность последнего была мало известна среди солдат Монтроза, но поединок между Алланом и Дальгетти, которых все хорошо знали, привлек всеобщее внимание и, к счастью, и самого Монтроза, который прибыл сюда, чтобы собрать свою конницу и продолжать преследование неприятеля на берегах озера Лох-Ил. Понимая, к каким роковым последствиям могут привести размолвки среди воинов его небольшой армии, он поскакал к месту происшествия и, увидев поверженного Мак-Ифа, над которым стоял Дальгетти, пытаясь защитить его от Аллана, Монтроз мгновенно догадался о причине ссоры и тотчас нашел средство прекратить ее.

— Стыдитесь! — сказал он. — Виданное ли дело, чтобы благородные воины ссорились между собой на поле победоносного сражения! Да вы с ума сошли! Или, может, опьянели от славы, которую вы оба стяжали сегодня?

— Это не моя вина, ваша светлость, — отвечал Дальгетти. — Во всех европейских армиях я был известен как *bonus socius, bon camarado*, но тот, кто тронет человека, за жизнь которого я отвечаю...

— А тот, — заговорил Аллан, перебивая майора, — кто дерзнет помешать моему справедливому мщению...

— Стыдитесь, джентльмены! — повторил Монтроз. — У меня для вас обоих найдутся дела поважнее, нежели любая личная ссора, которую вы можете разрешить между собой в другое, более подходящее время. Майор Дальгетти, извольте преклонить колено!

— Колено? — воскликнул Дальгетти. — Я еще никогда не слышал такой команды, разве только с церковной кафедры. Впрочем, в шведских войсках первые ряды действительно становятся на одно колено, но лишь тогда, когда полк бывает построен в шесть рядов.

— Тем не менее, — повторил Монтроз, — именем короля Карла и его наместника приказываю вам преклонить колено.

Когда Дальгетти весьма неохотно повиновался, Монтроз слегка ударил его по плечу шпагой и торжественно произнес:

— В награду за доблестную службу в нынешней битве именем и властью государя нашего короля Карла посвящаю тебя в рыцари; будь храбр, предан и удачлив! А теперь, сэра Дугалд Дальгетти, за дело! Соберите ваших всадников, сколько можете, и преследуйте неприятеля, который бежит вдоль берега озера. Не рассеивайте свои силы и не забирайтесь слишком далеко, но не давайте врагам соединиться, что вам будет не слишком трудно. На коня, сэра Дугалд, и исполняйте свой долг!

— Но где же я возьму коня? — промолвил новопосвященный рыцарь. — Бедный мой Густав почил на ложе славы, как и его великий тезка! А я рыцарь, или Ritter, как говорят немцы, но ездить мне не на чем.

— Этому горю можно помочь, — сказал Монтроз, спешиваясь. — Дарю вам своего коня, который считается неплохим; только прошу вас приступить скорее к делу, которое вы выполняете столь искусно.

Рассыпаясь в благодарностях, сэра Дугалд вскочил на коня, столь великодушно ему предоставленного, и, попросив его светлость не забывать, что он оставляет на его попечение Раналда Мак-Ифа, немедленно приступил к исполнению возложенного на него поручения с величайшим пылом и усердием.

— А вы, Аллан Мак-Олей, — сказал Монтроз, обращаясь к горцу, который, опираясь на свой палаш, воткнутый в землю, с презрительной усмешкой мрачно наблюдал за посвящением в рыцари своего противника, — вы, стоящий выше обыкновенных людей, движимых жадной наживы, грабежа и личных наград, вы, чьи глубокие знания сделали вас незаменимым нашим советником, — вас ли я застаю в драке с таким человеком, как Дальгетти, ради того, чтобы погасить последние проблески жизни в столь жалком противнике, лежащем во прахе перед вами? Придите в себя, мой друг! У меня есть другое дело для вас. Эта победа, если мы сумеем закрепить ее, привлечет Сифорта на нашу сторону. Не измена королю, а лишь неверие в успех нашего дела побудило его поднять оружие против нас. Это оружие после нашей победы может быть привлечено на нашу сторону. Я намерен прямо отсюда, с поля сражения, отправить к нему моего доблестного друга, полковника Гея: но ему должен сопутствовать кто-нибудь из дворян Верхней Шотландии, равный Сифорту по знатности рода и который своим высоким положением и личными качествами может внушить уважение к себе. Вы не только самое подходящее лицо для этого весьма важного поручения, но так как вы не занимаете должности командира в наших войсках, то мне легче отпустить вас, нежели одного из начальников отрядов. Вам известны все проходы и ущелья в горах, так же как нравы и обычаи каждого клана. Идите же на правый фланг к Гею, он уже получил от меня указания и ждет вас. Вы найдете его среди людей Гленморрисона. Будьте ему проводником, переводчиком и помощником.

Аллан Мак-Олей устремил на маркиза мрачный, испытующий взор, словно желая убедиться в том, что за этим внезапным поручением не кроется какой-то тайный смысл. Но Монтроз, превосходно умевший читать чужие мысли, так же искусно скрывал свои собственные. Он считал необходимым ради спокойствия в лагере удалить Аллана на несколько дней, дабы — как того требовала честь маркиза — оградить от опасности людей, служивших ему проводниками; что касается до ссоры Аллана с Дальгетти, то Монтроз не сомневался, что ее легко будет уладить. Аллан беспрекословно удалился и лишь просил маркиза позаботиться о сэре Дункане Кэмбеле; Монтроз тотчас же приказал перенести тяжелораненого рыцаря в безопасное место. Он также распорядился относительно Мак-Ифа и велел перенести его в отряд ирландцев и позаботиться о нем, но не допускать к нему ни одного горца из какого бы то ни было клана.

Затем маркиз вскочил на коня, подведенного ему одним из слуг, и поехал осматривать поле битвы. Победа оказалась гораздо более полной, чем он мог ожидать, и превзошла его самые пылкие надежды. Добрая половина трехтысячной храброй армии Аргайла полегла на поле

сражения или была рассеяна. Многих отступавших оттеснили в ту часть равнины, где река образует озеро, и оттуда не было пути ни для отступления, ни для бегства: несколько сот человек, загнанных в озеро, утонули. Из уцелевших одни спаслись по реке вплавь, другие бежали вдоль берега озера, покинув поле брани в самом начале сражения. Немногие укрылись в древней крепости Инверлохи, но, не имея ни провианта, ни надежды на помощь, они решили сдаться, поставив условием, что им разрешат мирно разойтись по домам. Их оружие, знамена и обоз — все досталось победителям.

Такого страшного разгрома еще не знали Сыны Диармида, — так в Верхней Шотландии именовали Кэмбелов, — род их всегда славился тем, что был столь же удачлив, сколь и предусмотрителен в своих замыслах и храбр при выполнении их. В числе погибших насчитывалось не менее пятисот дунье-вассалов — то есть дворян хотя и незнатных, но происходящих из уважаемых и хорошо известных семей. Однако в глазах большинства членов клана даже эти страшные потери бледнели перед позором, которым покрыл их честное имя глава клана, чья галера бесславно снялась с якоря, как только поражение стало неминуемым, и на всех парусах и веслах унеслась вниз по озеру.

## Глава 20

Был в ущелье грохот битвы

Еле слышен нам вдали:

Впереди — война и ужас,

Кровь и смерть за ними шли. Пенроуз

Блестящая победа Монтроза над его могущественным соперником досталась ему не без потерь, хотя они и составляли всего лишь десятую часть того урона, который понес враг. Мужество и стойкость Кэмбелов стоили жизни многим храбрым воинам противника: еще больше было раненых, и среди них — отважный граф Ментейт, командовавший центром, Впрочем, рана его была легкая и не помешала ему благородно передать своему главнокомандующему знамя Аргайла, которое он выхватил из рук знаменосца, одолев его в единоборстве. Монтроз горячо любил своего юного сородича, в чьей душе сохранились проблески великодушного, бескорыстного рыцарства, отличавшего героев давно минувших дней и столь непохожего на мелочную расчетливость и себялюбие наемников, из которых состояли армии большинства европейских стран; в Шотландии, поставлявшей наемных солдат почти всем государствам мира, этот торгашеский дух был особенно силен.

Монтроз, по натуре не чуждый рыцарским чувствам, хотя жизненный опыт научи.» его пользоваться для своих целей слабостями своих ближних, не стал расточать перед Ментейтом ни похвал, ни обещаний, а, крепко прижав его к груди, воскликнул: «Мой доблестный брат!» Этот порыв искреннего восхищения взволновал Ментейта более глубоко и радостно, чем если бы его заслуги были отмечены в военном рапорте, посланном самому королю.

— Сейчас, по-видимому, я более ничем не могу быть вам полезен, милорд, — сказал Ментейт. — Позвольте мне исполнить долг человеколюбия. Я слышал, что рыцарь Арденвор у нас в плену и тяжело ранен.



— И поделом ему, — заявил подошедший сэра Дугалд Дальгетти с важностью, приобретенной вместе с новым званием. — Не он ли пристрелил моего доброго коня в ту минуту, когда я предлагал ему почетный плен! А такой поступок, должен сказать, скорее изобличает в нем невежественного горца, дикаря, у которого не хватило ума возвести форт для защиты своего допотопного замка, нежели почтенного воина знатного рода.

— Так, значит, мы должны выразить вам соболезнование по поводу гибели славного Густава? — спросил Ментейт.

— Вот именно, милорд, — отвечал Дальгетти с глубоким вздохом. — *Diem clausit supremum*, как говорилось у нас в эбердинском училище. Однако уж лучше такой конец, нежели завязнуть в трясине или провалиться в снежный сугроб, как какое-нибудь вьючное животное; такая участь, несомненно, ожидала его, если бы зимняя кампания затянулась. Но его светлости было угодно (здесь он отвесил поклон в сторону Монтроза) пожаловать мне взамен Густава благородного коня, которого я позволил себе назвать Вознагражденная Верность — в память сего достопримечательного события.

— Я надеюсь, что Вознагражденная Верность, как вы называете мою лошадь, окажется исправно обученной ратному делу, — заметил маркиз. — Но я должен вам напомнить, что в Шотландии в наше время за верность чаще награждают петлей на шею, нежели конем.

— Вашей светлости угодно шутить. Но должен сказать, что Вознагражденная Верность несколько не уступает Густаву в военном искусстве и к тому же несравненно красивее его. Правда, своим воспитанием она не может похвастаться; но это оттого, что она до сих пор бывала только в дурном обществе.

— Уж не имеете ли вы в виду его светлость? — заметил Ментейт. — Стыдитесь, сэра Дугалд!

— Да было бы вам известно, милорд, — с важностью ответил рыцарь, — что я никогда не позволил бы себе такого невежества! Но я хочу лишь сказать, что его светлость общается со своим конем только во время учения, как и со своими солдатами; а потому он может вымуштровать и того и других и научить их военным маневрам; на основании этого я и говорю, что сей благородный конь прекрасно обучен. Но так как воспитание приобретает лишь в частной жизни, я склонен полагать, что ни один солдат не может позаимствовать лоску из разговоров со своим капралом или сержантом и что, соответственно, нрав Вознагражденной Верности вряд ли смягчился или улучшился в обществе конюхов его светлости, которые обычно угощают доверенных их попечению животных пинками, ударами и непристойной бранью, вместо того чтобы ласкать и холить их. Вследствие этого добродушные от природы четвероногие нередко становятся человеконенавистниками и до конца жизни обнаруживают несравненно более сильное желание лягать и кусать своего хозяина, нежели любить и почитать его.

— Мудрость глаголет вашими устами, — сказал Монтроз. — Если бы при эбердинском училище была учреждена академия для воспитания лошадей, никому, кроме сэра Дальгетти, не следовало бы доверять там кафедры.

— Тем более, — шепнул Ментейт на ухо Монтрозу, — что, будучи ослом, он приходился бы несколько сродни своим студентам.

— А теперь, с разрешения вашей светлости, — сказал новоиспеченный рыцарь, — я пойду отдать последний долг моему старому собрату по оружию.

— Уж не для того ли, чтобы совершить обряд погребения? — спросил маркиз, не зная, как далеко может завести сэра Дугалда привязанность к своему коню.

— Подумайте, ведь даже наших храбрых солдат придется хоронить наспех.

— Да простит меня ваша светлость, — отвечал Дальгетти, — но мои намерения далеко не столь возвышенны. Я просто спешу поделить наследство моего бедного Густава с птицами небесными, предоставив им мясо и взяв себе шкуру. Из нее, в знак памяти о любимом друге, я намерен сшить себе куртку и штаны по татарскому образцу, чтобы носить их под доспехами, ибо мое платье находится сейчас в плачевном состоянии. Увы, мой бедный Густав! Как жаль, что ты еще лишний часок не прожил на свете и не удостоился чести носить на своей спине благородного рыцаря! . Дальгетти хотел было удалиться, но Монтроз окликнул его.

— Сэр Дугалд, вряд ли кто-либо опередит вас в осуществлении ваших добрых намерений по отношению к вашему старому другу и соратнику, — сказал Монтроз, — а потому прошу вас вместе с моими ближайшими друзьями отведать запасов Аргайла, которые в изобилии нашлись в его замке.

— С величайшей охотой, ваша светлость, — отвечал Дугалд, — ибо ни обед, ни обедня никогда не мешают делу. Кстати, мне нечего опасаться, что волки и орлы примутся нынешней ночью за моего Густава, ибо у них есть чем поживиться и помимо него. Но, — добавил он, — поскольку я буду находиться в обществе двух почтенных английских рыцарей и других особ рыцарского звания из свиты вашей светлости, я очень просил бы вас осведомить их о том, что отныне и впредь я имею право первенства перед всеми, ибо я был посвящен в рыцари на поле сражения.

«Черт бы его побрал! — проворчал про себя Монтроз. — Только я успел потушить огонь, как он снова раздувает его...» По этому вопросу, сэр Дугалд, — продолжал он вслух, обращаясь к Дальгетти, — я считаю себя обязанным осведомиться о мнении его величества; а в моем стане все должны быть равны, как рыцари Круглого Стола, и занимать места за трапезой по солдатской поговорке: кто первый сел, тот первый съел.

— Так уж я позабочусь о том, чтобы сегодня сэр Дугалд не занял первого места, — тихо сказал Ментейт маркизу. — Сэр Дугалд, — добавил он, повышая голос, — вы говорите, что ваше платье поизносилось; не наведаться ли вам в обоз неприятеля, вон туда, где стоит часовой? Я видел, как оттуда тащили прекрасную пару из буйволово́й кожи, расшитую спереди шелками и серебром.

— *Voto a Dios!* — как говорят испанцы, — воскликнул майор. — Пожалуй, еще какой-нибудь нищий юнец воспользуется этим добром, пока я тут попусту болтаю!

Надежда поживиться богатой добычей сразу вышибла из головы рыцаря всякую мысль о Густаве и о предстоящем пиршестве, и, прищпорив Вознагражденную Верность, Дальгетти поскакал по полю сражения.

— Скачет, собака, не разбирая дороги! — заметил Ментейт. — Наступает на лица и топчет тела людей, которые были куда лучше его. Столь же падок до чужого добра, как ястреб до мертвечины. И такого человека называют воином! А вы, милорд, нашли его достойным славного рыцарского звания, — если таковым его еще можно считать в наше время, — из рыцарской цепи вы сделали собачий ошейник.

— А что мне было делать? — возразил Монтроз. — У меня не было под рукой полуобглоданной кости, чтобы бросить ему, а задобрить его было необходимо: я не могу травить зверя один, а у этого пса есть свои достоинства.

— Если природа и наделила его таковыми, — заметил Ментейт, — то образ жизни совершенно извратил их, оставив ему одно чрезмерное себялюбие. Верно, что он щепетилен в вопросах чести и отважен в бою, но только потому, что без этих качеств он не мог бы продвигаться по службе. Даже его доброжелательство — и то не бескорыстно: он готов защищать своего товарища, пока тот держится на ногах; но если он упадет, сэр Дугалд не

остановится перед тем, чтобы воспользоваться его кошельком так же как он спешит превратить шкуру Густава в кожаную куртку.

— Все это, может быть, и так, — отвечал Монтроз, — но зато весьма удобно командовать солдатом, чьи побуждения и душевные порывы могут быть вычислены с математической точностью. Такой тонкий ум, как ваш, друг мой, способный воспринимать множество впечатлений, столь же недоступных пониманию этого человека, сколь непроницаем для пуль его панцирь, — вот что требует чуткого внимания того, кто дает вам совет.

Внезапно переменив тон, Монтроз спросил Ментейта, когда он в последний раз виделся с Эннот Лайл?

Молодой граф ответил, густо покраснев:

— Я не видел ее со вчерашнего вечера. Впрочем... — добавил он с запинкой, — сегодня мельком, примерно за полчаса до начала боя.

— Любезный Ментейт, — начал Монтроз очень мягко, — если бы вы были одним из ветреных кавалеров, щеголяющих при дворе, которые в своем роде такие же себялюбцы, как наш милейший Дальгетти, разве я стал бы докучать вам расспросами об этой маленькой любовной интрижке? Над ней можно бы только весело посмеяться. Но здесь мы в волшебной стране, где сети, крепкие как сталь, сплетаются из женских кос, и вы как раз тот самый сказочный рыцарь, которого легко ими опутать. Эта бедная девушка прелестна и обладает талантами, способными пленить вашу романтическую натуру. Я не допускаю мысли, чтобы вы хотели обидеть ее, но ведь вы не можете жениться на ней?

— Милорд, — отвечал Ментейт, — вы уже не в первый раз повторяете эту шутку, — ибо так я понимаю ваши слова, — но вы заходите слишком далеко! Эннот Лайл — девушка неизвестного происхождения, пленница, вероятно дочь какого-нибудь разбойника, и живет из милости в доме Мак-Олеев...

— Не сердитесь на меня, Ментейт, — сказал Монтроз, прерывая его, — вы, кажется, любите классиков, хотя и не получили образования в эбердинском училище, и, вероятно, помните, сколько благородных сердец было покорено пленными красавицами?

*Movit Ajacem, Telamone natum, Forma captivae dominum Tecmessae.*

Одним словом, я очень обеспокоен всем этим. Быть может, я не стал бы тратить время на то, чтобы досаждать вам своими наставлениями, — продолжал он, нахмурившись, — если бы дело касалось только вас и Эннот Лайл; но у вас есть опасный соперник в лице Аллана Мак-Олея. И кто знает, до чего его может довести ревность. Мой долг — предупредить вас, что размолвка между вами может очень пагубно отразиться на вашей службе королю.

— Милорд, — отвечал Ментейт, — я знаю, что вы искренне желаете мне добра; думаю, что вы будете вполне удовлетворены, если я сообщу вам, что мы с Алланом Мак-Олеем уже обсудили этот вопрос. Я объяснил ему, что я не мог бы и помыслить о том, чтобы посягнуть на честь беззащитной девушки; с другой стороны, ее темное происхождение не позволяет мне мечтать о чем-либо ином. Я не скрою от вашей светлости, как не скрыл от Аллана, что, будь Эннот Лайл благородного происхождения, я не задумался бы дать ей свое имя и титул. Но при теперешних обстоятельствах это невозможно. Надеюсь, это объяснение удовлетворит вашу светлость, как оно удовлетворило человека менее благоразумного.

Монтроз пожал плечами.

— И что же, — сказал он, — вы оба, точно истые герои романа, сговорились между собой боготворить одну и ту же возлюбленную, как идолопоклонники — своего кумира, и ни один из

вас не должен притязать на большее?

— Я этого не утверждаю, милорд, — отвечал Ментейт, — я только сказал, что при теперешних обстоятельствах, — к нет никаких оснований предполагать, что они когда-нибудь изменятся, — мой долг по отношению к моей семье и к самому себе запрещает мне быть для Эннот Лайл кем-либо иным, нежели другом и братом. Но прошу вашу светлость извинить меня, — сказал он, взглянув на свою руку, которую он перевязал носовым платком, — мне пора подумать о царапине, полученной сегодня.

— Вы ранены? — с тревогой спросил Монтроз. — Дайте я посмотрю. Увы! Я, вероятно, даже и не узнал бы об этой ране, если бы не сделал попытки нащупать и исследовать другую, более глубокую и мучительную. Мне искренне жаль вас, Ментейт. Я и сам в жизни знавал... Но стоит ли будить давно уснувшую печаль...

С этими словами он крепко пожал руку молодому графу и направился к замку.

Эннот Лайл, как многие жительницы Верхней Шотландии, обладала некоторыми познаниями по части медицины и даже хирургии. Вполне понятно, что здесь не делали разницы между хирургией и медициной и что те немногие способы врачевания, которые были известны, применялись преимущественно женщинами и стариками, успевшими приобрести большой опыт благодаря постоянной практике. Заботы, которыми сама Эннот Лайл, ее служанки и другие помощницы окружали под ее присмотром раненых, принесли много пользы во время тяжелого похода. Она оказывала услуги как друзьям, так и врагам, и охотнее всего тем, кто в них более нуждался.

В одном из покоев замка Эннот Лайл тщательно наблюдала за приготовлением целебных трав, которые прикладывали к ранам, выслушивала донесения женщин о состоянии больных, вверенных их попечению, и распределяла лекарства, имевшиеся в ее распоряжении, когда в комнату внезапно вошел Аллан Мак-Олей. Она невольно вздрогнула, ибо до нее дошли слухи, будто он покинул лагерь, чтобы выполнить какое-то поручение. Как ни привыкла она к мрачному выражению его лица, оно показалось ей на сей раз мрачнее обычного. Аллан молча стоял перед ней, и она почувствовала необходимость заговорить первой.

— Я думала, — сказала она, — что ты уже уехал.

— Мой спутник ждет меня, — отвечал Аллан, — я сейчас еду.

Но он продолжал стоять перед ней, держа ее за руку так крепко, что, хотя ей и не было больно, она чувствовала его необычайную физическую силу: его рука сжимала ее запястье словно железными тисками.

— Не принести ли мне арфу? — спросила она робким голосом. — Не..., не..., надвигается ли мрак на твою душу?

Вместо ответа он подвел ее к окну, откуда открывался вид на поле битвы. Оно было сплошь усеяно трупами и ранеными, мародеры торопливо срывали одежду с этих жертв войны и феодалных распрей с таким хладнокровием, как будто они были существа другой породы и их самих завтра же, быть может, не ожидала та же участь.

— Нравится тебе это зрелище? — спросил Мак-Олей.

— Оно отвратительно! — воскликнула Эннот, закрывая лицо руками. — Как мог ты заставить меня смотреть на все это?

— Ты должна привыкнуть к этому, — отвечал он, — если ты намерена оставаться с этим обреченным войском... Скоро, скоро будешь ты искать на таком же поле тело моего брата.., и

Ментейта.., и мое собственное... Впрочем, это тебе будет безразлично.., ведь ты не любишь меня.

— Сегодня ты впервые упрекнул меня в бессердечии, — сквозь слезы сказала Эннот. — Ведь ты мой брат.., мой избавитель.., мой защитник.., как же я могу не любить тебя? Но я вижу, что мрак надвигается на твою душу, позволь мне принести арфу.

— Пстой! — сказал Аллан, все еще не выпуская ее руки. — Откуда бы ни являлись мои видения — с неба, или из ада, или из царства бесплотных духов, или же, как думают саксы, это только обман разгоряченного воображения, — сейчас я не в их власти. Я говорю языком естественного, зримого мира... Ты любишь не меня, Эннот! Ты любишь Ментейта... И ты любима им... А Аллан для тебя не более, нежели любой из мертвецов, распростертых на этом вересковом поле.

Едва ли эти странные речи открыли что-нибудь новое той, к кому они были обращены. Нет женщины, которая при подобных обстоятельствах не сумела бы давным-давно угадать, какие чувства к ней питают. Но когда Аллан столь внезапно сорвал покров со своей тайны, как ни был он тонок, Эннот поняла, чего можно ожидать от его неистовой натуры, и сделала попытку опровергнуть возведенное на нее обвинение:

— Ты роняешь свое достоинство и честь, оскорбляя столь беззащитное существо, которое к тому же волею судьбы всецело в твоей власти. Ты знаешь, кто я и что я, и знаешь, что ни от Ментейта, ни от тебя я не имею права выслушивать иных слов, кроме дружеских. Ты знаешь, какому злосчастному роду я, должно быть, обязана своим появлением на свет.

— Не верю я этому! — пылко воскликнул Аллан. — Никогда еще кристальная струя не била из грязного источника.

— Но если в этом есть хоть малейшее сомнение, — возразила Эннот, — ты не должен так говорить со мной.

— Знаю, — промолвил Мак-Олей, — это ставит преграду между нами... Но я знаю также, что эта преграда не столь безнадежно отделяет тебя от Ментейта... Послушай меня, любимая! Покинем зрелище этих страданий и смерти, поедем со мной в Кинтейл. Я поселю тебя в доме благородной леди Сифорт или же тебя доставят под надежной охраной в Айколмкил, в святую обитель, где женщины, по обычаю наших предков, заняты служением богу.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — возразила Эннот. — Пуститься в такой дальний путь вдвоем с тобой, под твоей охраной, — это значило бы забыть о том, что приличествует молодой девушке. Я останусь здесь, Аллан, здесь, под защитой благородного Монтроза. А когда его войска дойдут до предгорья, я найду способ освободить тебя от присутствия той, которая по неведомой ей причине лишилась твоего расположения.

Аллан продолжал молча стоять перед ней, словно не зная, уступить ли чувству сострадания или дать волю гневу, который вызывало в нем ее упорство.

— Эннот, — сказал он наконец, — ты хорошо знаешь, как мало истины в твоих словах о моих чувствах к тебе. Ты пользуешься своей властью надо мной и радуешься моему отъезду, ибо никто больше не будет подсматривать за тобой и Ментейтом. Но берегитесь оба! — добавил он грозно. — Ибо слышал ли кто, чтобы Аллану Мак-Олею была нанесена обида и он не отплатил за нее в десять раз более страшной мстью!

Он с силой стиснул ее руку, надвинул шапку до самых бровей и быстрым шагом вышел из покоя.

Вскоре вы ушли.

И я узнала, что во мне есть сердце

И что оно трепещет от любви!

Да, то была любовь, не вожделенье!

И лишь вблизи от вас иль рядом

С вами Жить и дышать — вот все,

Что нужно мне! «Филастр»

Признание Аллана в любви и его вспышка ревности показали Эннот Лайл, какая страшная пропасть разверзлась перед нею. Ей чудилось, будто она скользит по самому краю этой пропасти, не зная, где найти пристанище, у кого искать защиты. Она давно уже поняла, что любит Ментейта не как брата; и могло ли быть иначе, если вспомнить их близость с самых детских лет, личные качества молодого дворянина, постоянное внимание к ней, его мягкий нрав и обходительность, столь непохожую на обращение суровых воинов, среди которых она жила. Но любила она любовью тихой, робкой и мечтательной, которая довольствуется счастьем возлюбленного, не питая для себя никаких надежд. Гэльская песенка, которую она часто Напевала, хорошо выражает ее чувства, и мы охотно приводим здесь эти строки в переводе даровитого и злополучного Эндрю Мак-Доналда:

Делить твой жребий сладко было б мне,

Будь ты, как я, рожденным в скромной доле.

Везде с тобой, куда б в одном челне

Ни влек нас ветер, веющий на воле.

Разлучены законом роковым,

Мы разошлись — нас ждет судьба иная.

Пускай твоя легка — живу одним:

Молиться за того, кому верна я.

Ту боль, что сердце глупое пронзит,

Когда надежда навсегда покинет,

Ту боль не выдаст горький стон обид,

И лепет жалоб на устах застынет.

И по тропам оставшихся мне дней

Пусть плакальщицей бледной не бреду я,

Пока я знаю, что еще больней

От слез моих тому, кого люблю я.

Неожиданный порыв Аллана разрушил ее романтические грезы о беззаветной, тайной любви, не требующей награды. Она уже и раньше опасалась Аллана, невзирая на всю свою признательность к нему; к тому же она видела, что ради нее он всегда старался обуздать свой надменный и жестокий нрав. Но теперь Аллан внушал ей непреодолимый ужас, вполне оправданный тем, что она знала о нем и о его прошлом. При всем благородстве своей натуры он не умел умерять своих страстей, он ходил по замку и владениям своих предков, словно укрощенный лев, которому не смеют прекословить, дабы не разбудить в нем его кровожадные инстинкты. Уже много лет никто не противоречил его желаниям и не пытался хотя бы усюветить его, и, должно быть, только природный здравый смысл, — который он проявлял во всем, если не считать его мистических настроений, — помещал ему стать бедствием и угрозой для всего края. Но Эннот не пришлось долго предаваться своим невеселым думам, ибо пред ней внезапно предстал сэра Дугалд Далыетти.

Легко можно себе представить, что весь уклад жизни доблестного воина не подготовил его к тому, чтобы блистать в женском обществе; он сам смутно понимал, что язык казармы, кордегардии и учебного плаца не подходит для беседы с дамами. Единственная мирная пора его жизни протекла в эбердинском училище, но он уже успел забыть то небольшое, чему там выучился, за исключением собственноручной починки белья и искусства с необыкновенной быстротой поглощать пищу, ибо и в том и в другом ему неустанно приходилось упражняться. И все же именно обрывки воспоминаний о том, чему он научился в это мирное время своей жизни, служили ему источником вдохновения для беседы, когда он оказывался в обществе женщин; иными словами, речь его становилась книжной, как только она переставала быть солдатской.

— Сударыня, — начал он, — перед вами точное подобие копья Ахилла, один конец которого обладал свойством наносить рану, а другой — заживлять оную; свойство, которое не присуще ни испанским пикам, ни алебардам, ни протазанам, ни секирам, ни палицам и вообще ни одному из современных видов холодного оружия.

Эту тираду Дальгетти произнес дважды; но так как в первый раз Эннот едва слушала его, а во второй не поняла ни слова, ему пришлось выразиться яснее.

— Я хочу сказать, сударыня, — пояснил он, — что, будучи причиной тяжелой раны, нанесенной в сегодняшнем сражении одному почтенному рыцарю, поелику он, против всяких правил войны, пристрелил из пистолета моего коня, нареченного Густавом в честь великого шведского короля, — я желал бы доставить одному рыцарю облегчение, каковое вы, сударыня, могли бы ему оказать, ибо вы, подобно языческому богу Эскулапу (майор, вероятно, имел в виду Аполлона), искусны не только по части музыки и пения, но и в более высоком деле врачевания... *Opifer que per orbem dicor.*

— Если бы вы только были так добры объяснить мне, что вам угодно, — проговорила Эннот, слишком опечаленная, чтобы забавляться витиеватой галантностью сэра Дугалда.

— Это не так-то легко, сударыня, — отвечал рыцарь, — ибо я несколько запомнил правила грамматики. Но, впрочем, попробую. *Dicor*, приставив его, означает: «Я называем...» *Opifer? Opifer?* Припоминаю: *signifer* и *furcifer*...

Кажется, *opifer* означает в данном случае Д. М. — то есть «доктор медицины».

— Нынче хлопотливый день для всех нас, — сказала Эннот, — не можете ли вы просто сказать, что вам от меня нужно?

— Только одно, — отвечал сэра Дугалд, — чтобы вы навестили моего собрата-рыцаря и приказали бы своей девушке отнести ему какое-нибудь лекарство для раны, которая, как выражаются ученые, угрожает нанести *damnum fatale*.

Эннот Лайл никогда не медлила, когда кто-нибудь нуждался в ее помощи. Осведомившись о ране старого вождя, чья благородная наружность столь поразила ее в замке Дарнлинварах, она поспешила, к нему, радуясь, что может забыть о своих горестях в облегчении чужих страданий.

Сэр Дугалд весьма торжественно проводил Эннот Лайл в комнату больного, где, к своему изумлению, она застала лорда Ментейта. Она невольно вспыхнула при встрече с ним и, чтобы скрыть свое смущение, немедленно принялась осматривать рану рыцаря Арденвора; она тотчас же убедилась, что ее искусство недостаточно, чтобы залечить ее. Что касается сэра Дугалда, то он немедленно возвратился в большой сарай, где на полу, среди прочих раненых, лежал Раналд, Сын Тумана.

— Вот что, дружище, — сказал ему рыцарь, — как уже говорил тебе раньше, я готов сделать все, чего ты ни пожелаешь, во искупление той раны, которую ты получил, будучи под моей охраной. Поэтому, по твоей настоятельной просьбе, я послал Эннот Лайл ухаживать за рыцарем Арденвором, хотя убей меня бог, если я знаю, зачем тебе это понадобилось. Мне помнится, ты что-то говорил мне об их кровном родстве; но у воина в моем чине и звании есть дела поважнее, чем забивать себе голову вашими дикарскими родословными.

И надо отдать справедливость майору Дальгетти: он никогда не занимался чужими делами, не расспрашивал, не слушал и ничего не запоминал, если это не имело прямого отношения к военному искусству и не было так или иначе связано с его собственными интересами: в этих случаях память никогда не изменяла ему.

— А теперь, любезный Сын Тумана, — продолжал майор, — не можешь ли ты мне сказать, куда девался твой многообещающий внук, ибо я больше не видел его с тех пор, как он помог мне снять доспехи после окончания сражения; за свою нерадивость он заслужил хорошую порку.

— Он здесь, неподалеку, — отвечал раненый разбойник, — только не вздумай поднять на него руку; он уже мужчина и способен за каждый ярд ременной плетки отплатить тебе футом закаленной стали.

— Весьма непристойная угроза, — заметил сэра Дугалд, — но я кое-чем тебе обязан, Раналд, и на сей раз прощаю тебе.

— Если ты считаешь, что обязан мне, — сказал разбойник, — то в твоей власти отплатить мне, пообещав исполнить еще одну мою просьбу.

— Дружище Раналд, — отвечал Дальгетти, — знаю я эти обещания! Читал я когда-то в глупых книжках, как простодушные рыцари со своими обещаниями попадали впросак. Поэтому, Раналд, рыцари стали осторожнее и никогда ничего не обещают, пока не уверятся, что они могут сдержать слово, не нажив себе хлопот и неприятностей. Ты, может быть, поделаешь, чтобы я пригласил нашу лекарку осмотреть твою рану, но ты должен принять во внимание, Раналд, что неопрятность помещения, где ты находишься, может некоторым образом отразиться на чистоте ее наряда, а в этом отношении, как тебе известно, женщины крайне щепетильны. Будучи в Амстердаме, я потерял расположение супруги первого министра, вытерев сапоги о шлейф ее черного бархатного платья, который я принял за половик, потому что она распустила его чуть ли не на всю комнату.



— Я не прошу тебя звать сюда Эннот Лайл, — отвечал Мак-Иф, а прошу перенести меня в покои, где она ухаживает за рыцарем Арденвором. Мне нужно сообщить им нечто, весьма важное для них обоих.

— Собственно говоря, — возразил Далыетти, — доставить разбойника в покои, где находится благородный рыцарь, значит нарушить порядок чинопочитания. Рыцарское звание было издревле и в некоторых отношениях считается еще и теперь наивысшим воинским чином, независимо от офицерских чинов, получаемых по назначению. Однако услуга, о которой ты просишь, такая безделица, что я не хочу отказывать тебе в ней.

С этими словами он отдал распоряжение шести солдатам перенести Мак-Ифа на своих плечах в покои сэра Дункана Кэмбела, а сам поспешил вперед, дабы объяснить рыцарю причину такого поступка. Но солдаты так проворно справились с порученным им делом, что нагнали майора и, войдя в комнату со своей страшной ношей, положили Мак-Ифа на пол, прежде чем Далыетти успел открыть рот. Черты лица разбойника, грубые от природы, были сейчас искажены болью; руки его и скудная одежда были перепачканы кровью — своей и чужой, — ничья заботливая рука не смыла ее, хотя рана и была перевязана.

— Ты ли тот, кого люди называют рыцарем Арденвором? — заговорил Раналд, с мучительным усилием повернув голову в сторону ложа, на котором лежал его недавний противник.

— Да, — отвечал сэр Дункан, — что тебе нужно от человека, часы которого сочтены?

— Мои часы равняются минутам, — отвечал разбойник. — Тем большую милость оказываю я тебе, ибо я отдаю их тому, чья рука всегда была занесена надо мной, хотя моя рука была занесена еще выше.

— Твоя рука выше моей! Раздавленный червь! — сказал старый рыцарь, глядя сверху вниз на своего жалкого противника.

— Да, — отвечал разбойник твердым голосом, — моя рука простерлась выше. В смертельной схватке между нами раны, нанесенные мною, были глубже, хоть и твоя рука не бездействовала и разила беспощадно. Я — Раналд Мак-Иф, Раналд, Сын Тумана. Та ночь, когда я предал огню твой замок, превратив его в груды пепла, развеянную по ветру, завершается нынешним днем, когда тебя поразил меч моих праотцев... Вспомни все зло, которое ты причинил нашему племени... Никто, кроме тебя, — и еще одного, — не был так жесток с нами. Но тот будто бы заговорен и недоступен нашему мщению... Но скоро узнаем, правда ли это.

— Милорд Ментейт, — произнес сэр Дункан, приподнимаясь на своем ложе, — этот человек — отъявленный злодей, он враг короля и парламента, поправший законы божеские и человеческие, разбойник из племени Сынов Тумана, заклятый враг моего и вашего дома и рода Мак-Олеев. Надеюсь, вы не потерпите, чтобы мои последние минуты были омрачены торжеством этого дикаря?

— Ему будет воздано по заслугам, — отвечал Ментейт. — Немедленно унесите его отсюда.

Сэр Дугалд вступился было за Раналда, напомнив об его услугах в качестве проводника и о своем поручительстве за его безопасность, но резкий, хриплый голос разбойника перебил его речь.

— Нет! — заговорил старик. — Пусть пытка и петля, пусть труп мой повиснет между небом и землей, на корм коршунам и орлам с горы Бен-Невис!.. Ни этот высокомерный рыцарь, ни горделивый тан никогда не узнают тайны, которую я один мог бы им поведать, — тайны, от которой бы радостно взыграло сердце Арденвора, будь он хоть при последнем издыхании, и

за обладание которой граф Ментейт отдал бы все земли своего графства. Подойди сюда, Эннот Лайл, — продолжал он, приподнявшись с неожиданной силой, — не бойся того, к кому ты ласкалась в дни своего детства. Скажи этим гордецам, которые презирают в тебе отпрыск моего древнего рода, что в тебе нет ни одной капли нашей крови, что ты рождена не среди Сынов Тумана, а в шелку и бархате, и мягче твоей колыбели не стояло в их самых богатых хоромах.

— Именем бога заклинаю тебя! — воскликнул Ментейт, трепеща от волнения. — Если тебе известно происхождение этой девушки, облегчи свою совесть перед смертью, поведай нам твою тайну, прежде чем покинуть этот мир!

— И с последним вздохом благословить моих врагов? — промолвил Мак-Иф, злобно взглянув на него. — Таковы правила, которые проповедуют ваши священники, но когда и где следуете вы этим правилам? Я не расстанусь с моей тайной, пока не узнаю, какая ей цена. Что дал бы ты, рыцарь Арденвор, чтобы услышать, что всеу предавался ты посту и молитве и что есть на свете отпрыск твоего рода? Я жду твоего ответа... Отвечай, или я не скажу более ни слова.

— Я отвечу тебе, — сказал сэр Дункан голосом, в котором боролись недоверие, ненависть и тревога, — я отвечу тебе, что, не знаю я ваше дьявольское отродье, в котором спокон веку были одни обманщики и убийцы... Но если на сей раз ты говоришь правду, я был бы готов простить тебе все обиды, которые ты мне нанес.

— Слышите? — сказал Раналд. — Немалая ставка для Сына Диармида! А ты, благородный тан? Молва идет в лагере, будто ты готов ценой жизни и всех своих владений купить весть о том, что Эннот Лайл родилась не среди гонимого племени, а происходит из древнего рода, не менее знатного, нежели твой собственный? Так слушайте же!.. Но не из любви к вам нарушаю я свое молчание... Было время, когда я ценой своей тайны купил бы свободу, а ныне я готов обменять ее на то, что для меня дороже свободы, дороже жизни... Эннот Лайл — самое младшее, единственное оставшееся в живых дитя рыцаря Арденвора, спасенное в ту пору, когда все и вся в его замке было предано огню и мечу.

— Правду ли он говорит? — воскликнула Эннот Лайл, не помня себя от волнения. — Или это бред безумного?

— Дитя мое, — отвечал Раналд, — если бы ты дольше жила среди нас, ты научилась бы лучше распознавать голос правды. Этому молодому лорду и рыцарю Арденвору я предъявлю такие доказательства истинности моих слов, что сомнения их рассеются. А теперь — удались отсюда. Я любил твое младенчество, у меня нет ненависти к твоей юности: никто не станет ненавидеть цветущую розу за то, что она выросла на терновом кусту; и только ради тебя одной готов я пожалеть о том, что вскоре неминуемо должно произойти. Но тот, кто хочет отомстить своему врагу, не должен печалиться оттого, что и невинный будет вовлечен в гибель.

— Он подал добрый совет, Эннот, — сказал лорд Ментейт. — Ради всего святого, удалитесь отсюда! Если.., если в этом есть доля правды, ваша встреча с сэром Дунканом, ради вас обоих, должна быть подготовлена иначе!

— Я не расстанусь с отцом, если правда, что я обрела его! — промолвила Эннот. — Я не могу покинуть его в столь страшную минуту.

— Ты всегда найдешь во мне отца, — прошептал сэр Дункан.

— В таком случае, — сказал Ментейт, — я прикажу перенести Мак-Ифа в соседний покой и сам выслушаю его показания. Сэр Дугалд Дальгетти, не откажите мне в любезности быть моим помощником и свидетелем.

— С удовольствием, милорд, — отвечал сэра Дугалд. — Готов быть и помощником и свидетелем — кем угодно. Никто не может быть вам полезнее меня, ибо всю эту историю я уже слышал месяц тому назад в замке Инверэри; но все эти набег на разные замки путаются у меня в голове, тем паче что она занята более важными делами.

Услышав это откровенное признание, сделанное майором в то время, когда они выходили из комнаты вслед за солдатами, выносившими разбойника, лорд Ментейт с нескрываемым гневом и презрением взглянул на Дальгетти, но доблестный рыцарь, преисполненный несокрушимого самодовольства, не обратил на это ни малейшего внимания.

## Глава 22

Я волен, как дикарь, дитя свободы,

Что жил среди нетронутой природы,

Не зная рабства черные невзгоды. «Завоевание Гренады»

Граф Ментейт выполнил свое намерение и самым тщательным образом проверил рассказ Раналда Мак-Ифа, подтвержденный показаниями двух его родичей, которые вместе с ним несли обязанности проводников при войске. Эти показания Ментейт сопоставил с подробностями о разгроме замка и уничтожении семьи рыцаря Арденвора, которые сообщил сам сэра Дункан Кэмбел; и можно с уверенностью сказать, что старик ничего не забыл, рассказывая о страшном событии, имевшем столь гибельные последствия. Нужно было во что бы то ни стало установить, не вымышлена ли вся эта история разбойником с целью выдать девушку своего племени за дочь и законную наследницу рыцаря Арденвора.

Может быть, и неразумно было поручать расследование этого дела Ментейту, столь страстно желавшему, чтобы рассказ Раналда подтвердился, но ответы Сынов Тумана были вполне определенны, просты, ясны и точно совпадали между собой. Упоминалось родимое пятно, которое, как было известно, имелось у малолетней дочери сэра Дункана и которое было обнаружено на левом плече Эинот Лайл. Все помнили, что после пожара, когда подобрали жалкие останки убитых детей, — труп девочки нигде не был найден. Другие неоспоримые доказательства, которые нет необходимости перечислять, заставили не только Ментейта, но и столь беспристрастного судью, как Монтроз, окончательно убедиться в том, что Эннот Лайл, скромная воспитанница в доме Мак-Олеев, обращавшая на себя внимание только своей красотой и талантом, отныне по праву займет место законной наследницы Арденвора.

В то время как Ментейт спешил сообщить радостную весть тем лицам, которых она ближе всех касалась, Раналд Мак-Иф выразил желание поговорить со своим сыном, как он обычно называл внука.

— Вы найдете его в том сарае, куда меня сначала положили, — сказал он.

После долгих поисков маленького дикаря нашли свернувшимся в клубок на куче соломы в углу сарая и привели к деду.

— Кеннет, — сказал ему старый разбойник, — выслушай предсмертное слово родителя — твоего отца. Один воин с предгорья и Аллан Кровавая Рука покинули лагерь несколько часов тому назад и направились к Каперфе. Гонись за ними, как ищейка гонится за раненым оленем, — переплыви озеро, взберись на гору, проберись сквозь чащу лесную — пока не

настигнешь их.

По мере того как старик говорил, лицо мальчика становилось все мрачнее, и наконец рука его легла на рукоять ножа, засунутого за кожаный ремень, которым был стянут его ветхий плед.

— Нет, — продолжал старик, — не от твоей руки должен он погибнуть. Они станут расспрашивать тебя, что нового в лагере. Скажи им, что Эннот Лайл оказалась дочерью Дункана Арденвора; что тан Ментейт намерен обвенчаться с ней и что ты послан позвать гостей на свадьбу. Не жди их ответа, скройся из глаз, как молния, поглощенная черной тучей. А теперь ступай, возлюбленное дитя моего любимого сына! Никогда больше не увижу я твоего лица, не услышу шороха твоих легких шагов... Постои минутку и выслушай мой последний завет. Помни об участи нашего племени и свято чти обычаи Сынов Тумана. Теперь нас осталась только горсточка, нас силой оружия гонят из каждой долины, нас преследуют все кланы, которые владычествуют на землях, где некогда предки их рубили дрова и носили воду для наших прародителей. Но в дремучих лесах, в сердце наших гор, ты, Кеннет, сын Ирахта, храни незапятнанной свободу, которую я завещаю тебе в наследство. Не променяй ее ни на пышную одежду, ни на каменные палаты, ни на уставленный яствами стол, ни на пуховую постель... На горных вершинах и в глубине долин, в довольстве и нищете, в дни жаркого лета и суровой зимы — будь свободен, Сын Тумана, как твои прадеды! Не имея господина, не признавай закона, не принимай платы и сам не держи наемников; не строй хижины, не ограждай пастбища, не засевай пашни; пусть горный олень будет твоим стадом, а если и этого не станет, отбирай добро у наших угнетателей англичан и у тех шотландцев, которые в душе не лучше англичан и более дорожат своими стадами и отарами, нежели честью и свободой. Благо нам, что это так, ибо тем больше простору для нашего мщения. Помни о тех, кто делал добро нашему племени, и плати им за услугу собственной кровью, если в том будет нужда. Кто бы ни пришел к тебе из рода Мак-Айенов, хотя бы с отрубленной головой королевского сына, укрой его, пусть бы даже вся армия короля-отца гналась за ним, ибо в минувшие годы мы нашли мирный приют в Гленко и Арднамурхане, но Сыны Диармида, род Дарнлинварах, дом Ментейтов... Слушай, Сын Тумана: мое проклятье падет на твою голову, если ты пощадишь хоть одного из них, когда наступит их час! А этот час близок, ибо они поднимут меч друг на друга и, побежденные, будут искать спасения в тумане, — и сыны его поразят их. А теперь ступай... Отряхни прах с ног своих на пороге жилища, где собираются люди, все равно — для мира или для войны. Прощай, возлюбленный сын мой! И да настигнет тебя смерть, как твоих прадедов, — прежде чем недуг, увечье или старость сломят силу твоего духа!.. Ступай... Ступай-Живи свободным... Плати добром за добро... Мсти врагам своего племени!

Юный дикарь наклонился и поцеловал в лоб своего умирающего деда; но, приученный с детства подавлять всякое внешнее проявление душевных волнений, он ушел, не проронив ни слова, не пролив ни одной слезы, и вскоре был уже далеко за пределами лагеря Монтроза.

Дугалд Дальгетти, присутствовавший при этом прощании, был весьма мало удовлетворен поведением Мак-Ифа.

— Мне кажется, дружище Раналд, — сказал он, — что ты избрал не вполне правильный путь для умирающего. Приступ, атака, резня, поджог предместий — все это, конечно, повседневное занятие воина и оправдывается необходимостью, ибо он делает это по долгу службы; это касается, в частности, поджога, то можно сказать, что во всех укрепленных городах предместья кишат предателями. Поскольку ясно, что военное ремесло особенно угодно небесам, мы, несомненно, можем надеяться на спасение души, хотя и совершаем ежедневно столь страшные дела. Но скажу тебе, Раналд: во всех европейских войсках так уж заведено, что умирающий воин не похваляется подобными делами и не завещает своим собратьям совершать их; напротив, он кается в них и читает молитву или просит помолиться за него. И если хочешь, я обращусь к капеллану его светлости с просьбой сотворить молитву над тобой. Впрочем, в мои обязанности отнюдь не входит наставлять тебя, но, быть может,

это облегчит твою совесть, если ты помрешь как добрый христианин, а не как турок, что ты, видимо, намерен сделать.

«Вместо ответа умирающий (ибо смерть быстро приближалась к Раналду Мак-Ифу) попросил приподнять его, чтобы он мог взглянуть в окно. Густой зимний туман, весь день окутывавший вершины скал, теперь спускался по всем склонам, клубясь в горных ущельях и долинах, где зубчатые черные края, словно пустынные острова, высились в молочно-белом океане.

— Дух Тумана! — промолвил Раналд Мак-Иф. — Ты, кого наше племя зовет отцом и покровителем! Когда кончатся мои муки, прими в свое облачное жилище того, кому ты столь часто давал приют при его жизни!

С этими словами он откинулся на руки поддерживающих его и молча повернулся лицом к стене.

— Сдается мне, — сказал Дальгетти, — что друг мой Раналд в душе немногим лучше язычника. — И он повторил свое предложение пригласить доктора Уишарта, капеллана при войсках Монтроза.

— Человек он умный, — продолжал Дальгетти, — и мастер своего дела; он тебе отпустит все твои грехи раньше, чем я успею выкурить трубку.

— Южанин, — сказал умирающий, — не говори мне больше о священнике, — я умираю со спокойной душой. Был ли у тебя когда-нибудь враг, против которого оружие бессильно, которого и пуля не берет и стрела не пронзает, чье обнаженное тело непроницаемо для меча и кинжала, как твой стальной панцирь? Слышал ли ты когда-нибудь о таком противнике?

— Весьма часто, когда служил в Германии, — отвечал сэра Дугалд. — Был один такой в Ингольштадте: его не брали ни сталь, ни свинец. Солдаты прикончили его прикладами своих мушкетов.

— Вот на такого неуязвимого врага, — продолжал Раналд, не слушая майора, — чьи руки обогреты самой дорогой для меня кровью, я наслал муку душевную, ревность, отчаяние, внезапную смерть; а если не смерть, то жизнь — страшнее самой смерти! Такова будет участь Аллана Кровавая Рука, когда он узнает, что Эннок Лайл — невеста Ментейта. И нет у меня иных желаний, как только увериться в том, что это свершится, и тем усладить мою смерть от его кровавой руки.

— Ежели так, — сказал майор, — то ничего с тобой не поделаешь. Но я позабочусь, чтобы как можно меньше людей тебя видели, ибо я считаю, что твой способ собираться на тот свет не может служить хорошим примером для солдат христианской армии.

С этими словами Дальгетти вышел из комнаты, и вскоре затем Сын Тумана окончил свое земное существование.

Тем временем Ментейт, оставив наедине вновь обретших друг друга отца и дочь, глубоко взволнованных неожиданно раскрывшейся тайной их родства, горячо обсуждал с Монтрозом последствия этого события.

— Я понял бы теперь, — сказал маркиз, — если бы даже не догадывался об этом раньше, что открытие, дорогой Ментейт, очень близко касается вашего личного счастья. Вы любите эту девушку, оказавшуюся знатной наследницей, и она отвечает вам взаимностью. Происхождение ее безусловно; достоинства не уступают вашим. И тем не менее — подумайте!.. Сэр Дункан — фанатик или, во всяком случае, пресвитерианин; он поднял оружие против короля. Он сейчас с нами только в качестве пленного, а я опасуюсь, что это лишь начало долгой междоусобной войны. Время ли теперь — подумайте, Ментейт, —

просить руки его дочери? И есть ли у вас надежда, что он станет вас слушать?

Любовь, самый ловкий и красноречивый из адвокатов, подсказала графу Ментейту тысячу ответов на эти возражения. Он сказал Монтрозу, что рыцарь Арденвор никогда не был ханжой ни в религии, ни в политике; упомянул о своей хорошо известной и не раз доказанной преданности делу короля и дал понять, что его брак с наследницей Арденвора может привлечь на их сторону новых приверженцев престола. Он напомнил о тяжелой ране сэра Дункана и о том, какая опасность угрожает Эннот в стране Кэмбелов, ибо в случае смерти ее отца или долгой болезни она очутится под опекой Аргайла, а это положит предел всем его (Ментейта) надеждам, если он не пойдет на то, чтобы приобрести благорасположение Аргайла и получить его согласие на брак с Эннот ценой собственной измены королю.

Монтроз в конце концов внял этим доводам и согласился с тем, что хотя дело это трудное, но чем, скорее оно будет сделано, тем больше пользы принесет сторонникам короля.

— Я желал бы, — сказал он, — чтобы этот вопрос уже был решен так или иначе и прекрасная Брисеида покинула лагерь до возвращения нашего северного Ахилла, Аллана Мак-Олея. Я боюсь его неистового нрава, Ментейт, и потому лучше всего отпустить сэра Дункана под честное слово в его замок, с тем чтобы вы в качестве почетного конвоя сопровождали его и Эннот. Почти весь путь можно проделать по воде, чтобы не растревожить рану сэра Дункана, а ваша рана, мой друг, достаточно почетное оправдание для временной отлучки из лагеря.

— Ни за что! — воскликнул Ментейт. — Даже если я должен отказаться от надежды, только что мелькнувшей предо мной, ни за что не покину я лагерь вашей светлости, пока над ним реет королевский штандарт! Я заслуживал бы, чтобы эта пустячная царапина загноилась и я лишился бы правой руки, когда позволил бы себе под предлогом столь легкой раны покинуть войско в такое время.

— Это ваше решение незыблемо? — спросил Монтроз.

— Так же незыблемо, как гора Бен-Невис, — отвечал Ментейт.

— В таком случае, — сказал Монтроз, — вы должны, не теряя времени, объяснить с рыцарем Арденвором. Если его ответ будет благоприятным, я сам поговорю с Ангюсом Мак-Олеем, и мы обсудим способ удержать брата подальше от армии, пока он не примирится с мыслью о постигшем его разочаровании. Дай-то бог, чтобы его посетило какое-нибудь дивное видение, которое вытравит бы из его памяти образ Эннот Лайл! Вы, вероятно, считаете это невозможным, Ментейт?.. А теперь вернемся к своим обязанностям: идите служить Купидону, а я пойду служить Марсу.

Они расстались, и, как было условлено, Ментейт на другое утро попросил разрешения у раненого рыцаря Арденвора переговорить с ним наедине и сообщил ему о своем желании просить руки его дочери. Об их взаимных чувствах сэр Дункан догадывался, но не ожидал, что Ментейт так скоро выскажет свои намерения. Старик начал с того, что он и так уже, быть может, слишком много предается семейным радостям в то время, когда его клан претерпел столь тяжелый урон и унижение, и что поэтому ему не хотелось бы при столь бедственных обстоятельствах думать о дальнейшем преуспевании своего дома. Однако после настоятельных просьб Ментейта сэр Дункан просил дать ему несколько часов на размышление, дабы он мог посоветоваться с дочерью относительно столь важного дела.

Исход их беседы оказался благоприятным для Ментейта. Сэр Дункан Кэмбел видел, что счастье его вновь обретенной дочери всецело зависит от соединения с возлюбленным; и он отлично знал, что если брак не будет немедленно заключен, то Аргайл найдет тысячу способов воспрепятствовать этому союзу, который казался весьма желательным рыцарю Арденвору. Душевные качества Ментейта не оставляли желать ничего лучшего, а его положение в обществе благодаря богатству и знатности рода было столь высоко, что, в

глазах сэра Дункана, оно с лихвой искупало различие их политических убеждений. К тому же, даже если бы собственное мнение об этом браке было не вполне благоприятно, он все же не решился бы упустить случай исполнить желание своей чудом найденной дочери. Помимо всего прочего, к такому решению его заставило прийти чувство фамильной гордости: было бы несколько унизительно представить свету наследницу Арденвора как бедную воспитанницу и музыкантшу, жившую из милости в поместье Дарнлинварах. Ввести же ее в свет в качестве нареченной невесты или законной супруги графа Ментейта, полюбившего ее в дни безвестности, было бы достаточно веским доказательством того, что она всегда была достойна положения, до которого теперь возвысилась.

Под влиянием всех этих соображений сэр Дункан Кэмбел объявил влюбленным о своем согласии на их брак; их должен был обвенчать капеллан армии Монтроза — с наивозможной скромностью — в часовне замка Инверлохи. Было решено, что, когда Монтроз со своей армией двинется дальше, — о чем со дня на день ждали приказа, — молодая графиня уедет со своим отцом в его замок и останется там до тех пор, пока политическая обстановка в стране не позволит Ментейту с честью покинуть военную службу. Однажды придя к такому решению, сэр Дункан Кэмбел не стал слушать свою дочь, в смущении просившую отложить бракосочетание, и оно было назначено на вечер следующего дня — через двое суток после сражения.

## Глава 23

Деву мою синеокою взял Агамемнон Жестокий,

Ту, что за подвиги ратные в дар

Ниспослали мне боги. «Илиада»

По многим причинам было необходимо поставить Ангюса Мак-Олея в известность о счастливой перемене в судьбе недавней его воспитанницы Эннот Лайл, которую он в течение долгих лет окружал нежными заботами; и Монтроз, взявший на себя это поручение, сообщил ему все подробности необыкновенного события. Со свойственной ему беспечностью и легкомыслием Ангюс выразил больше радости, нежели удивления, по поводу выпавшего на долю Эннот счастья; он не сомневался, что она будет вполне его достойна и, воспитанная в духе преданности королю, передаст вместе с рукой и сердцем владения своего сурового фанатика отца какому-нибудь честному роялисту.

— Я бы ничего не имел против того, чтобы мой брат Аллан попытал счастья, — добавил он, — невзирая на то, что сэр Дункан Кэмбел единственный человек, когда-либо попрекнувший хозяев Дарнлинвараха в недостатке гостеприимства. Эннот Лайл всегда умела разгонять мрачные мысли Аллана, и — кто знает — может быть, женившись, он стал бы таким же человеком, как и все.

Монтроз поспешил прервать эти радужные мечты, сообщив Ангюсу, что наследница Арденвора уже просватана и, с согласия ее отца, не сегодня — завтра будет обвенчана с графом Ментейтом; и в знак глубокого уважения к Ангюсу Мак-Олею, бывшему столь долгое время покровителем невесты, он, Монтроз, просит его присутствовать при совершении брачного обряда.

При этом известии Мак-Олей нахмурился и гордо выпрямился, всем своим видом показывая,

что он обижен.

Он считает, заявил он, что его неустанное попечение и заботы о молодой девушке во время ее многолетнего пребывания под его кровлей заслуживают несколько большего внимания, нежели приглашение на свадьбу. По его мнению, он был вправе ожидать, чтобы с ним по крайней мере посоветовались. Он искренне желает добра Ментейту, так искренне, как, может быть, никто иной, но он находит, что тот поступил в этом случае несколько опрометчиво. Чувства Аллана и молодой девушки ни для кого не были тайной, и он, со своей стороны, отказывается понимать, как она, даже не обсудив ни с кем своего решения, могла пренебречь чувством благодарности, на которую брат его имел большее право, чем кто-либо другой.

Монтроз, отлично понимая, к чему все это клонится, убедительно просил Ангюса быть благоразумным и подумать о том, что едва ли удалось бы уговорить рыцаря Арденвора отдать руку своей единственной наследницы Аллану, который при всех своих неоспоримо превосходных качествах имеет еще другие свойства характера, настолько затмевающие первые, что все окружающие страшатся его.

— Милорд, — возразил Ангюс Мак-Олей, — у моего брата, как и у каждого из нас, смертных, есть свои достоинства и недостатки; но он самый лучший, самый храбрый воин в вашем войске — каков бы ни был его соперник, — и поэтому не заслуживает того, чтобы вы, ваша светлость, а также его близкий родственник и молодая особа, которая всем обязана ему и его семейству, столь мало посчитались с его личным счастьем.

Тщетно пытался Монтроз заставить Ангюса взглянуть на дело с другой стороны — Ангюс упорно стоял на своем; а он был из тех людей, которые, забрав себе что-либо в голову, не поддаются уже никаким убеждениям. Тогда Монтроз переменял тон и предостерег Ангюса от каких-либо поступков, которые могли бы нанести вред делу короля. Он выразил настойчивое желание, чтобы Аллану не мешали выполнить возложенное на него поручение, весьма почетное для него самого и чрезвычайно важное для интересов короля; он высказал надежду, что старший брат ничего не будет сообщать Аллану, дабы не создавать повода к раздорам и не отвлекать его мыслей от столь важного дела.

Ангюс отвечал довольно мрачно, что он не подстрекатель и не зачинщик ссор и предпочел бы играть роль миротворца. Брат его не хуже других умеет постоять за себя, а что касается сообщений, то всем хорошо известно, что Аллан получает вести из своих особых источников, помимо обыкновенных гонцов. При этом Ангюс добавил, что он нисколько не будет удивлен, если Аллан появится среди них раньше, чем его можно было бы ожидать.

Единственное, чего удалось добиться Монтрозу, было обещание Ангюса не вмешиваться: столь добродушный при всех иных обстоятельствах, Ангюс становился непреклонен, когда дело касалось его гордости, выгоды или предрассудков. Маркизу ничего не оставалось, как прекратить разговор.

Можно было думать, что гораздо охотнее согласится быть свидетелем брачной церемонии и, уж разумеется, не откажется от свадебного пиршества другой гость, а именно сэр Дугалд Дальгетти, которого Монтроз счел нужным пригласить, как участника всех предшествующих событий. Однако и сэр Дугалд выказал заметное колебание; посматривая на локти своей куртки и протертые колени кожаных штанов, он пробормотал слова благодарности за приглашение, обещая по возможности воспользоваться им, предварительно посоветовавшись с женихом. Монтроз был несколько озадачен, но почел ниже своего достоинства выразить неудовольствие и предоставил сэру Дугалду действовать по собственному усмотрению. Тот немедленно отправился в комнату жениха, который из своего скудного походного гардероба пытался выбрать платье, наиболее пригодное для предстоящего венчанья. Войдя, сэр Дугалд торжественно поздравил Ментейта с предстоящим бракосочетанием, свидетелем которого, добавил он, к великому своему



сожалению, быть не может.

— Говоря откровенно, — продолжал он, — я просто опозорил бы вас своим присутствием: у меня нет свадебного наряда; дыры, прорехи и продранные локти в одежде гостя могли бы быть приняты за плохое предзнаменование для вашей будущей семейной жизни; и, если хотите знать правду, милорд, вы отчасти сами виноваты, ибо зря послали меня взять кожаное платье из добычи, доставшейся Камеронам: вы могли с таким же успехом послать меня вытаскивать фунт масла из пасти терьера. Меня встретили, милорд, занесенными мечами и кинжалами и рычаньем на тарабарском наречии, которое они именуют своим языком. Что до меня, то я считаю горцев ничуть не лучше настоящих язычников и был сильно возмущен тем, каким образом мой приятель Раналд Мак-Иф час тому назад соизволил отправиться в свой последний поход. Находясь в том счастливом состоянии, когда человека все веселит, Ментейт отнесся к жалобам сэра Дугалда как к забавной шутке. Он попросил майора принять в подарок прекрасный кожаный камзол.

— Я хотел было сам надеть его, — сказал граф, — ибо он показался мне наименее устрашающим из всех моих воинских одеяний, а другой одежды у меня здесь нет.

Сэр Дугалд рассыпался в извинениях, уверяя, что ни в коем случае не хочет лишаться..., и так далее и так далее... — пока ему вдруг не пришла в голову счастливая мысль, что, по военным правилам, графу приличествует венчаться в панцире и нагруднике, как венчался принц Лео Виттельбахский с младшей дочерью старого Георга Фридриха Саксонского в присутствии доблестного Густава Адольфа, Северного Льва и прочая и прочая. Ментейт весело рассмеялся и полностью согласился с майором, обеспечив себе таким образом хотя бы одно довольное лицо на свадебном пиру. Ментейт надел парадную кирасу, прикрыв ее бархатным камзолом и голубым шарфом, повязанным через плечо, согласно и своему званию и моде того времени.

Все приготовления были закончены. По обычаю страны, жених и невеста не должны были видаться до той минуты, когда они вместе предстанут перед алтарем. Уже пробил час, назначенный для венчания, и жених в маленьком преддверии перед часовней дожидался маркиза, который согласился быть его шафером. Непредвиденные дела задерживали маркиза, и Ментейт с понятным нетерпением ждал его прихода. Услышав, как отворяется дверь, он сказал шутливо:

— Вы опаздываете на парад.

— Не рано ли я пришел, — отвечал Аллан Мак-Олей, врываясь в комнату. — Обнажи шпагу, Ментейт, и защищайся, как мужчина, или умри, как собака!

— Ты не в своем уме, Аллан! — воскликнул Ментейт, пораженный не столько внезапным появлением ясновидца, сколько его неистовой яростью. Щеки Аллана покрылись мертвенной бледностью, глаза готовы были выскочить из орбит, на губах выступила пена, он метался по комнате, как бесноватый.

— Лжешь, предатель! — кричал он в исступлении. — Ты лжешь сейчас, как лгал мне раньше. Вся твоя жизнь — одна только ложь!

— Разве я не правду сказал, назвав тебя безумцем? — сказал Ментейт с возмущением. — Иначе твоя жизнь немногочего бы стоила. В какой лжи ты обвиняешь меня?

— Ты мне сказал, — ответил Мак-Олей, — что не женишься на Эннот Лайл. Гнусный предатель! Она уже ждет тебя у алтаря.

— Это ты говоришь не правду, — возразил Ментейт. — Я сказал, что ее темное происхождение — единственное препятствие к нашему браку; это препятствие устранено. А

кто ты такой, чтобы ради тебя я отказался от своего счастья?

— Так обнажи шпагу, — сказал Мак-Олей. — Говорить нам больше не о чем.

— Не сейчас и не здесь, — отвечал Ментейт. — Ты меня знаешь, Аллан... Подожди до завтра, и мы будем драться сколько тебе угодно.

— Сейчас.., сию минуту.., или никогда! — сказал Мак-Олей. — Твой час пробил, я не дам тебе больше торжествовать, Ментейт! Заклинаю тебя нашим кровным родством, нашим общим делом и общими битвами, обнажи шпагу и защищай свою жизнь!

С этими словами он схватил графа за руку и стиснул ее с такой неистовой силой, что кровь выступила у того из-под ногтей. Ментейт резко оттолкнул его, воскликнув:

— Прочь, безумец!

— Итак, да сбудется мое предвидение! — сказал Аллан и, выхватив кинжал, со всей своей исполинской силой ударил им графа в грудь. Острие клинка скользнуло вверх по стальному панцирю и глубоко вонзилось между плечом и шеей; сила удара сразила Ментейта, и он упал, обливаясь кровью. В эту минуту Монтроз вошел в преддверие, а привлеченные шумом свадебные гости в испуге и недоумении отворили двери часовни; но прежде чем Монтроз понял, что случилось, Аллан Мак-Олей стремительно промчался мимо него и с быстротой молнии сбежал по лестнице замка.

— Стража! Ворота на запор! — крикнул Монтроз. — Держите его! Убейте, если будет сопротивляться! Клянусь, он умрет, будь он мне хоть брат родной!

Но Аллан вторым ударом кинжала уложил на месте часового, словно горный олень промчался через весь лагерь, преследуемый всеми, кто слышал приказ Монтроза, бросился в реку, переплыл ее и, выйдя на берег, вскоре исчез из виду, скрывшись в лесу.

В тот же вечер брат его Ангюс вместе со всем своим кланом, покинув лагерь Монтроза, отправился домой и никогда уж больше не присоединился к его войскам.

Об Аллане же ходила молва, что он чуть ли не назавтра после совершенного злодеяния ворвался в один из залов замка Инверэри, где в это время Аргайл собрал военный совет, и бросил на стол свой окровавленный кинжал.

— Кровь Джеймса Грэма? — спросил Аргайл, с диким злорадством и вместе с тем со страхом глядя на внезапного посетителя.

— Это кровь его любимца, — отвечал Мак-Олей, — кровь, которую мне было предназначено пролить, хотя я охотнее отдал бы свою собственную.

Промолвив эти слова, Аллан повернулся, выбежал вон из комнаты и тотчас покинул замок; и с этой минуты ничего достоверно не известно о его судьбе. Говорят, будто вскоре после этого видели, как Кеннет, внук Раналда Мак-Ифа, с тремя другими Сынами Тумана переплывал озеро Лох-Файн, и, по мнению многих, они выследили Аллана и настигли его в чаще леса, где он и погиб от их руки. Другие утверждали, что Аллан Мак-Олей покинул Шотландию, постригся в монахи и умер в одном из картезианских монастырей. Но и то и другое мнение ничем, кроме догадок, не подтверждалось.

Однако месть его оказалась не столь полной, как он, вероятно, думал, ибо Ментейт, хотя и раненный столь тяжело, что жизнь его долго находилась в опасности, избежал рокового конца благодаря тому, что, следуя совету майора Дальгетти, облачился перед бракосочетанием в стальную кирасу. Но служба его в армии Монтроза кончилась; было решено, что он отправится вместе со своей нареченной супругой, чуть было не ставшей печальной вдовицей,

и с тяжелораненым будущим тестем, сэром Дунканом, в замок Арденвор. Дальетти сопровождал их до берега озера и при расставании не преминул напомнить Ментейту о необходимости возвести форт на холме Драмснэб, дабы защитить новоприобретенное наследство его супруги.

Они благополучно совершили путешествие, и спустя несколько недель Ментейт настолько оправился, что мог обвенчаться с Эннот в замке ее отца.

Горцы были несколько озадачены тем, что Ментейт выздоровел, несмотря на пророчество ясновидца, а наиболее испытанные прорицатели даже сердились на него за то, что он не умер. Многие же, напротив, считали, что пророчество все-таки исполнилось, ибо рана Ментейта была нанесена той самой рукой и тем самым оружием, которые являлись Аллану в его видениях. Что касается кольца с мертвой головой, то все сошлись на том, что оно и послужило предзнаменованием смерти отца невесты, прожившего всего несколько месяцев после свадьбы дочери. Впрочем, маловеры утверждали, что все это лишь пустые бредни, что видения Аллана были не что иное, как игра его больного воображения, что он давно уже видел в Ментейте своего счастливого соперника, и его необузданная страсть внушила ему мысль об убийстве.

Здоровье Ментейта все же не позволило ему быть участником блестящих, но кратковременных успехов Монтроза, и когда этот доблестный полководец распустил свое войско и покинул Шотландию, Ментейт решил вести мирную жизнь у семейного очага: так он прожил до самой реставрации Стюартов. После этого события он занимал в стране положение, соответствующее его званию, жил долго и счастливо, окруженный уважением и любовью, и умер в глубокой старости.

Наши *dramatis personae* столь немногочисленны, что, за исключением Монтроза, чья жизнь и дела — достояние истории, нам остается упомянуть только о судьбе сэра Дугалда Далыетти. Этот честный воин продолжал с педантичной точностью нести свои обязанности и получать жалованье, пока в числе других не попал в плен в битве при Филипхоу. Ему предстояло разделить участь своих собратьев офицеров, присужденных к смертной казни, — не столько по приговору гражданского или военного суда, сколько по обвинению с церковной кафедры, ибо духовенство решило пролить кровь во искупление грехов всей страны, и их постигла кара, которой некогда подверглись хананеяне.

Однако несколько офицеров из предгорья, служивших в войсках парламента, вступились за Далыетти и убедили свое начальство, что его военное искусство может пригодиться в их армии, а уговорить его переменить службу будет нетрудно. Но они неожиданно натолкнулись на решительный отказ. Далыетти заявил, что поступил на службу к королю на определенный срок, и до истечения этого срока не может быть и речи о переходе в другую армию. Сторонники ковенанта, однако, не признавали таких тонкостей, и Далыетти грозила опасность стать мучеником не ради тех или иных политических убеждений, а лишь из-за своих собственных понятий о долге наемного солдата. К счастью, его друзья высчитали, что оставалось всего каких-нибудь две недели до истечения срока его контракта, нарушить который никакие силы земные не могли заставить майора, хотя не было ни малейшей надежды на его возобновление. Не без труда удалось выхлопотать ему отсрочку казни на эти две недели, по прошествии которых он охотно согласился подписать новые условия, поставленные его доброжелателями. Таким образом, он очутился в войсках парламента и дослужился до чина майора в отряде Гилберта Кэра, обычно называемом Пресвитерианской конницей.

О дальнейшей его судьбе нам ничего не известно, кроме того, что он наконец овладел своим родовым поместьем Драмсуэкиит, взяв его, однако, не в бою, а мирно вступив в брак с Ханной Стрэхен, особой довольно почтенного возраста и вдовой того самого пресвитерианина, который некогда присвоил себе его владения.

По-видимому, сэр Дугалд пережил революцию, ибо не столь давнее предание повествует о том, как он колесил по всей округе — очень старый, очень глухой, но по-прежнему плетущий нескончаемые бредни о бессмертном Густаве Адольфе, этом Северном Льве и оплоте протестантской веры.